

Марк Харитонов

ВРЕМЕНА ЖИЗНИ



München, ImWerdenVerlag
2011

© Марк Харитонов, 2011

© Некоммерческое электронное издание, <http://imwerden.de>, 2011

НОЧЬ

1

На улице светло — не от луны, от снега. Луны еще не видно. Снег светится на дороге, на крышах домов, его сиянием полон воздух. Наливается сиянием облачная пелена.

2

Тени ночных ветвей ложатся на светящееся стекло и, не покидая его, сквозь себя пробираются в комнату, подрагивают, пристраиваясь, на стенах. Собака у порога вздрогнула, повела ухом, не раскрывая глаз, засопела снова. Вздох воздуха, электрическая дрожь в напрягшихся проводах. Томление соков, на зиму замерзших в ветвях — и уже ощутивших готовность ожить, тронуться, наполнить собой темные недра.

3

И каждую ночь эта репетиция рождения и смерти.

УТРО

Встаешь от женщины,ходишь к окну. Уже светло, и все вокруг: деревья, дома, дорога, небо — окрашено, омыто, наполнено или опустошено совершившимся, отзвучавшим только что, и озабоченные прохожие — посторонние на твоём празднике, не подозревающие о нём, но самим своим существованием в этот миг все-таки причастные ему. Наверно, и им это бывает дано, но сейчас ты — царь, прекрасный мир перед тобой, прекрасная женщина за твоей спиной.

СКАЗКА

1

Конечно, что принцессу кто-то превратил в лягушку — это сказка, но на самом деле принцессы бывают, и короли, и королевы. Не у нас, у нас их уже не осталось, но есть ведь такие страны, в которых они еще существуют. Даже по телевизору однажды показывали: на вид совсем обычная девочка, безо всякой короны, и даже не в платье, а в джинсах. На улице никто бы не узнал, что это принцесса. Вполне могла бы убежать из своего дворца, чтобы никто не узнал. Интересно ведь: идешь по улице, и никто не догадывается, кто ты на самом деле.

2

Они встретились возле речки на дугу. У нее был веснушчатый нос, волосы только начали отрастать после стрижки, ноги в цыпках, на обеих коленках ссадины. Сарафан в мелкий цветочек. Она рассматривала что-то в траве и трогала босой ногой.

Оба они были босые.

— Наступи на это, — сказала девочка.

Он пригляделся и увидел в траве черный слизистый комочек.

— Зачем? — сказал он.

— Она к твоей ноге присосется, — сказала она.

— Сама наступи, — сказал он.

Она посмотрела на него, прищурясь, поковыряла в носу и сказала:

— Калабуда малам.

— Чего? — сказал он.

— Ничего. Это на заморском языке. Значит: «Ну и дурак».

— На каком заморском?

— На каком, на каком! Страна есть такая. Где заморцы живут.

— Где? — не столько спросил он, сколько по-дурацки повторил слово.

— Там, — она неопределенно махнула рукой в сторону речки.

3

Главное, он ведь всегда и сам знал, что не все еще страны открыты, должны быть совсем неоткрытые, небольшие, их просто никто пока не заметил. Ведь даже в обычном дворе есть такие места, о которых никто не догадывается, и там можно найти сокровища, например, стеклянный шарик неизвестного происхождения и даже настоящий компас, валявшийся в зарослях пыльной бузины, между забором и сараем. И если, скажем, просто поплыть вниз по реке, она будет становиться все шире и шире и, наконец, вольется в какое-нибудь море. Он уже обдумывал такое путешествие. Можно было бы самому построить лодку, вроде тех, что он научился складывать из бумаги, только, конечно, из настоящего материала, непромокаемого, прочного, покрасить такой же непромокаемой краской, он уже придумал для нее мотор с часовой пружиной.

4

Значит, заморская страна была на самом деле недалеко, и она была восхитительна. В языке этой страны любое слово что-нибудь значило для способных понять, даже то, что другим казалось бессмысленным.

И кала бурум здесь значило: воздух синий.

А малакуя было: небо распускается, как цветок.

И ланка бина было: у коровы на рогах солнце.

5

Они прыгали и кричали с конопатой принцессой заморской страны, они играли и бегали по зеленому луку, где бродили громадные, до неба, коровы, и у стреноженной кобылы в большом животе лежал вверх ногами еще не родившийся жеребенок. Кошка кралась в зарослях, охотясь за невидимым зверем, в голубых глазах собаки отражались цветы, божья коровка ползла по листу крапивы, не обжигаясь, куст акации был увешан свистульками, воздух трепетал прозрачно, и принцесса все собиралась прочесть самое смешное в мире стихотворение, но никак не могла. Оно состояло всего из одной строки, потому что следующую просто невозможно было выговорить, от первых слов живот на-

чинал наполняться смехом, который невозможно было удержать внутри.

6

Речка стекала по круглой земле за невидимый край. Сказочная страна окружала их, как небо вокруг. Сказочными были деревья, дома и животные. Травы и цветы были такие новенькие, что даже еще не имели названия. Над цветами, как шары, колыхались разноцветные запахи. Из земляных норок, из-под травяных корней смотрели на них блестящими крохотными глазами любопытные обитатели. У пролетавшей птицы были разноцветные крылья, одно красное, другое зеленое, а тело переливалось радугой. Она летела к себе в дом, куда-то все выше и выше — туда, где над синим куполом распускался громадный цветок. В сладкую его сердцевину, жужжа, забиралась головой и всем мохнатым туловищем пчела, полная меду, и с одной стороны цветка было солнце, а с другой луна.

ИСЧЕЗНУВШАЯ СТРАНА

Никогда не знаешь, как сложится этот путь, успеешь ли ты дойти вовремя. До школы далеко, дорога полна опасностей и соблазнов. Надо миновать три длинных одноэтажных барака, два слева от дороги, средний сдвинут вправо, но торец его слегка вдается в общий двор, так что приходится делать зигзаг: направо, налево, опять направо. Когда-то бараки были крашены желтой краской, со временем цвет стал неопределенным, краска местами неровно выцвела, местами в грязных разводах, из-под осыпавшейся штукатурки проступает дранка. В палисадниках под окнами вскопаны грядки, первыми начинают слабо зеленеть редиска и лук, осенью красиво цветут астры и золотые шары. Какое сейчас время года?.. Воздух прохладный. Между крюками, вбитыми в стены, двумя электрическими столбами и перекладиной детских качелей протянуты в разных направлениях веревки, подпертые там и сям неустойчивыми наклонными рейками, на них всегда сушится белье. Чтобы пройти совсем коротким путем, можно поднырнуть под рубашки с обвисшими рукавами, под наво-

лочки и детские пеленки — а там напрямик дальше. Но сокращать дорогу почему-то опять не хочется, тянет углубиться заново в неисследованный лабиринт. Внутренность скрытой домашней жизни, убогое ношеное исподнее вывешено здесь напоказ, без смущения. Взметнуло ветром подолы, визжат девчонки, спешат одернуть, а тут — смотри сколько хочешь. Мужские трусы и белые кальсоны с болтающимися завязками, обширные женские рейтузы, лиловые и розовые, узнаваемая тельняшка безногого инвалида Фимы, который постоянно скрипел на своей тележке под ногами очереди у винного магазина, балагурил и сквернословил для снисходительной общей потехи, зарабатывал на угощение. Девичья шелковистая комбинация, которую на ходу приятно задеть щекой. Под провисающие до земли простыни и пододеяльники вовсе не поднырнешь — лабиринт здесь становится непроглядным, призрачным, неизвестно, сколько придется еще блуждать в поисках выхода. Безгрешная белизна, очищенная от грязи и от стыда житейской укромности, сладкий запах стираной свежести, запах яблока или арбуза, оттаивающий после утренних приморозков. Когда пододеяльники изнутри надувает ветер, морщины разглаживаются, белые тела обретают живой объем. На простыне распростерта широкая тень, прищепленная за веревку двумя раскоряченными руками — женщина, приподнявшись на цыпочки и расставив руки, закрепляет белье на веревке. Надо скорей бежать, покуда она не увидела тебя поверх простынной завесы, не опознала. Но свернуть некуда, трепетный лабиринт не выпускает, хрипая матерщина несется вслед. Чувство противней, чем страх, гонит напролом, сквозь завесу, как сквозь стену. Шаткая рейка падает вместе с бельем на землю. Преступление совершено, ругань звучит уже в отдалении, можно перевести дыхание за углом барака. Женская матерщина пугает не так, как мужская. Когда эта подвыпившая грузная сторожиха честит на весь двор бессловесного мужа, соседи появляются у окон, как театральные зрители. За тобой она вряд ли погонится, а погонится — не настигнет. На опухших-то ногах, да такая тяжеловесная. Но если успела узнать, она еще заявится к вам домой, не столько с жалобой, сколько с надеждой получить законный откуп от мамы. Маме не впервой откупаться. К живущим в двухэтажном кирпичном доме ИТР — инженерно-технических работников — отношение здесь особое. Вы вроде бы и свои, но только отчасти. Как для этих знакомых собак у мусорных ящиков. Ты можешь их

вовсе не опасаться: подойдут, обнюхают, даже подставят головы, позволяя себя почесать за ухом. Черная гладкая Альма, грязно-белый лохматый Фимка, кривоногий пятнистый Бенц. Даже если не всегда окажется при себе бутерброд, чтобы отщипнуть положенную дань — проводят еще немного, без злобы и недовольства, а там отойдут. Но когда облаивают посторонних прохожих или отгоняют от тех же ящиков чужих, опасных собак — ощутишь, как приятно сознавать свое преимущество, свою законную защищенность. Так дворовые хулиганы могли защитить тебя от приставших на другой улице: ты был их, местной собственностью, обижать тебя впрямь были только свои. Между улицами и дворами здесь были особые счеты, доходило до нештучных побоищ на пустыре за стадионом, а то и до поножовщины. Толик Барыгин, появившись в классе после месячного отсутствия, показывал желающим страшные красные швы на правом боку; потом он и вовсе исчезнет надолго в колонии. Ты мог при этих стычках быть не больше чем зрителем, если угодно, воодушевленным болельщиком; но для самой здешней жизни ты останешься посторонним, как ни подлаживайся к общим вкусам и представлениям. Выпускай из-под кепки чуб, носи пальто нарасташку (если не видит мама), демонстрируй умение свистеть сквозь зубы — ценить тебя будут больше за содержимое твоих карманов. При тебе ли еще зажигательное стекло? — скорей зажигательное, чем увеличительное. Даже в нежаркий солнечный день оно собирало бледное, поначалу расплывчатое пятно в яркую жгучую точку; мельчайшие заусеницы и посторонние пылинки высвечивались в этой точке на поверхности обструтанной деревяшки, сияющая дымная струйка поднималась из нее, и вот она становилась черной. Но особенную цену, конечно, имел твой перочинный нож с двумя лезвиями, большим и маленьким, да вдобавок еще шилом и штопором. В пазах застряли навсегда хлебные крошки, поскрипывают песчинки. Чтобы попользоваться им по очереди, тебя снисходительно принимали играть в тычки или ножички. Попадешь удачно, и нарежь себе одну за другой доли владений внутри очерченного на земле неровного круга, стирай подошвой черту чужих, отмененных границ. Не так просто удавалась втыкать тот же нож в землю разными искусными способами; самый трудный из них назывался «слону яйца качать»: нож раскачивался за кончик лезвия двумя пальцами так, чтобы потом воткнулся, перевернувшись. Самодельной заточкой, с рукояткой, обмотан-

ной черной изолентой, это получалось почему-то гораздо лучше. Вдоволь попробовав и не выдавая зависти, с усмешкой возвращали тебе твой тяжелый роскошный нож. Открыто отнять его во дворе у тебя не могли, тут многие знали, что начальником у их отцов был твой папа. Ты согласился обменять его добровольно, и долго не признавался потом в утрате — не родителям, нет; не признавался в чем-то себе сам. Не получалось все-таки стать действительно своим для обитателей здешних бараков — а ведь они были тем самым народом, о котором торжественно говорили по радио и писали в газетах, который назывался двигателем истории в школьных учебниках, который делал для вас все, начиная с кирпичей для вашего дома ИТР на одном из местных заводов. Их жизнь была более настоящая, чем твоя. Она время от времени вываливалась во двор вместе с пьяными крикливыми перебранками, шумными свадьбами, проводами в армию, с плясками и пением под баян. За вколоченным в землю столиком вечерами и по выходным усаживались пожилые играть в домино, здесь же и выпивали. На самодельных скамейках сидели молодые мамы с детьми на руках. Патефонная музыка слышалась из открытого летом окна: «Трудно, друг мой, жить без друга в мире одному», «Расцветали яблони и груши»... у вас тоже были такие пластинки. Но пластинки — что! Невозможно было по-родственному ощутить надышанную, теплую, тесную жизнь, что затаенно проходила за низенькими, чуть не у самой земли, оконцами в свете вечерних ламп под оранжевыми матерчатыми абажурами...

Настойчивый, повторный стук в ближнее окно. Круглое лицо прижато к стеклу. Приплюснутый нос побелел, как поросячий пяточок, губы расплющены. Зина Кукина, белобрысая прыщеватая одноклассница, покривлявшись, делает пальцем знак: заходи. Ей почему-то снова не нужно в школу. В окне еще с прошлой, а может, позапрошлой зимы осталась вторая рама, осколки елочных шаров утоплены в грязной вате, на подоконнике миска, в которую стекает по нитке влага всегдашней сырости. Заходи, чего покажу, — повторяет она знаком и мимикой. Нет, с этой девчонкой надо быть настороже, от нее можно ждать всякого. Она уже не раз обещала тебе показать что-то особенное, да с таким насмешливым, откровенным намеком: неужели не хочешь? а может, трусишь? Покажет она тебе на самом деле потом и не здесь, у нее было свое затаенное логово за дальним сараем, в ку-

стах пыльной замусоренной бузины, и это обернется еще одним из разочарований. Но нельзя было все-таки не поддаться, когда она в первый раз поманила тебя вот так же и повела в барак, держа за руку, тайком, чтобы никто не видел; на ходу оборачивалась со все более многообещающим подмигиванием, прикладывая палец к губам. От этого подмигивания внутри все томительно замирало, жар ее влажной руки передавался телу. После уличного света едва удавалось различать хлам, загромождавший тесный проход в коридоре, вдоль ряда дверей: табуретки, тумбочки с примусами и керосинками, ведра с помоями, старые доски, и пахло неопишимо: керосином, конечно, — чем же еще могло пахнуть от керосинок на тумбочках? сыростью пахло и, конечно, помоями — чем еще могло пахнуть от ведер?.. Но действительной тошнотой дохнуло из комнаты, когда с той же коварной ухмылкой Зина открыла одну из дверей. Там мать ставила клизму ее больной бабушке, вот что она позвала тебя посмотреть. И при случае сладострастно, как уже посвященному, добавляла потом разных подробностей. К кровати, где лежала ее бабушка, приделаны были бортики из грубо остроганных досок, чтобы она не свалилась, потом сверху, над ногами приколотили еще две поперечных доски, для верности, потому что она иногда впадала в беспокойство, а смотреть за старухой все время некому было. Нескольких добавочных досок хватило, чтобы оформить вскоре окончательный гроб, в котором ее и вынесли из барака. Та же Зина, серьезно поджав губы, несла перед гробом застекленную иконку с искусственными цветами и ягодками из конфетной фольги. Но что же значила непонятная власть, которую сохраняла все-таки над тобой эта прыщеватая вредина с кривым верхним зубом, знавшая о жизни с детства больше тебя? Ты тянулся ее слушать, не признаваясь в возобновлявшихся приступах тошноты, не находил в себе решимости ее оборвать. И разве что отворачивался, когда она кричала при тебе непристойности вслед тихой тоненькой Лизе Шлиппе, проходившей мимо с нотной папкой в руке. Лиза была уже почти взрослая, она жила с мамой в одном из барачков, обе считались не просто немками, но вроде бы и дворянками. Невозможно было завести на глазах у всех знакомство с этой семьей. Они были здесь еще более чужие, чем ты, сомнительно чужие, старались, как пугливые мышки, незаметней прошмыгнуть в свою дверь и на дворе не показываться. Из Зининых дразнилок можно было понять, что эти немки и общим сортиром ухитрились не пользоваться...

О, еще и этот сортир по пути! Не совсем, впрочем, по пути, он был вон там, за бараками, возле сарая, но как же было его миновать? Хотя туда тебе ходить не полагалось, и брезгливость приходилось преодолевать, но дворовые сотоварищи зазывали. В перегородке, отделявшей мужскую половину от женской, там проделаны были для подглядывания дырки, затыкаемые обычно комками газет. Затычки выковыривались, конечно, и восстанавливались тут же снова, едва кто-то за перегородку входил; ими пользоваться не получалось. Но можно было втихомолку глянуть, что отражается по соседству в отблескивающем, кишасщем белыми личинками зловонном месиве, когда там присаживались над дырой. У твоих сотоварищей это называлось «смотреть телевизор». Настоящего телевизора у них тогда еще не было...

То есть что значит «тогда»? Какое сейчас время? Часов на руке нет, их подарят только к совершеннолетию... Ты что-то вообще путаешь. В какую тебе, вспомни, смену, первую или вторую? Когда-то у вас была даже третья, классов на всех не хватало. Но сколько с тех пор прошло времени?.. сколько времени? Ты слишком давно здесь не был. Разберись, наконец, с этим словом: давно. Опаздываешь скорей всего безнадежно — и попробуй объясни себе теперь сам, зачем так долго сюда шел. Где твой всегдашний портфель с оборванной ручкой (она была приделана проволокой и сверху обмотана изолентой, пачкавшей руку), где еще более давняя отцовская полевая сумка с тремя отделениями, особыми узкими вставочками для карандашей и ручки, плексиглазовым прозрачным окошком?.. Э, про что еще вспомнил! Когда это было!.. Занятия кончились, школа уже пуста. В безлюдных, наизусть памятных коридорах гулко отдаются шаги. Так ведь и знал, так и чувствовал. Это случалось уже не раз все в тех же, повторявшихся снах, где надо было зачем-то снова сдавать экзамен, не совсем даже понятно, какой. Вроде, по математике. Но для чего его было сдавать еще раз, ведь ты школу давно закончил и вполне это сознавал? Взбрело почему-то на ум явиться не по обязанности — по собственной воле... должно было получиться как-то само собой... знал ведь когда-то все эти правила, теоремы, формулы. И вот, оказывается, — безнадежно забыл. Ничего уже не вспомнить, не решить даже самой простой задачи. Но всякий раз удавалось, наконец, с облегчением вспомнить, что экзамена никакого сдавать не нужно...

Какие, в самом деле, экзамены! Они, как уроки, тоже давно кончились. Какую дверь ни отворишь — пусто, пахнет все еще не

просохшими после мытья полами. Опоздал, вот ведь как просто. Считай, пронесло... Но и не они же были тебе нужны, не в них теперь дело... о них ты, можно считать, не думал. Отчего же это непонятное, сосущее чувство? Можешь ли ты припомнить по-настоящему, зачем снова, как наяву, проделал весь этот путь?.. Сейчас, сейчас... надо, наверное, подойти сюда, к этому вот коридорному окну...

Почти вплотную напротив — дом, двухэтажный, кирпичный, маленький. Он кажется странно знакомым — как забытая, не совсем уже понятная фотография... Да что же ты, в самом деле не узнаешь?.. Минуточку... неужели это тот самый — твой дом, из которого ты вышел когда-то... уже не подсчитать, когда? Он словно невообразимо уменьшился, усох от времени. Так усыхают, уменьшаются с возрастом старики. Клумба перед подъездом школы — ее можно перепрыгнуть с разбега... два мусорных бака поодаль. И ничего больше. Ничего, кроме клумбы и мусорных баков здесь просто и не могло поместиться. Бараки давно снесены, в этом можно не сомневаться — но как они могли уместиться на таком замусоренном, занюханном, крошечном пятачке? Тут и для одного дома нет места... действительно нет. А ведь помещались же на пути между школой и домом, не один — целых три барака, с двумя входами в каждом, с восемью окнами в ряд, с палисадниками под окнами. На подоконниках стояли где цветок в горшке, где полустгнившая луковица в банке. Раздвигались и задвигались занавески, выглядывали неясные лица. И между бараками простирался двор, с качелями и скамейками, сарай был на задах, заросли бузины и тот самый невообразимый сортир. Целая населенная густо страна — даже мысленно не втиснешь теперь заполненную ее жизнь между сдвинутыми почти вплотную кирпичными двухэтажками. Время может сжиматься в памяти, в этом каждый не раз успевал убедиться. Время, говорят, вообще существует лишь в человеческом воображении, большая часть его просто исчезает куда-то из жизни. Но неужели невозможно вернуться хотя бы в пространство — настоящее, только что памятное до мелочей пространство? Соприкосновения с памятью, вот чего оно не смогло выдержать — сморщилось и исчезло.

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ

Сидя на стульчаке, вспомнил о Боге и обратился к Нему.
И смутился: не кощунство ли в такой миг обращаться к Богу?
И увидел себя с Его высоты:
Дитя человеческое, извергающее кал,
Не подлежащее упреку в своей младенческой беспомощности.

БОЛЕЗНЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

— Да, здесь свободно, садитесь, — сказал небритый мужчина и приглашающе подвинул к себе поближе кружку с остатком пива. Молодой человек с подносом в руках все еще оглядывался в поисках более подходящего места. Мужчина наблюдал за ним взглядом тревожным и выжидательным. Мало того, что он был небрит: обширный синяк на левой скуле частично заклеен был пластырем, рядом с пивной кружкой стояла уже опустошенная рюмка. — Садитесь, тут будет нормально, — поощрил он еще раз.

Какая-то искательность была в его голосе.

Молодой человек молча поставил на столик свою кружку, разместил рядом тарелки с помидорным салатом, сосисками, хлебом.

— Я понимаю, вас может смущать мой вид, — усмехнулся как бы виновато небритый. — Не обращайтесь внимания. Я почти ничего и не пил — разве это считается? А что выпил, считай, не подействовало. Я в этом заведении вообще первый раз. Просто со вчерашнего дня на больничном. Сегодня ведь вторник, я вроде не путаю?.. Время стало растягиваться как-то совсем безразмерно... Боже, сколько еще терпеть!

Он вкинул брови, страдальчески морща лоб, помотал головой, отхлебнул еще немного из кружки.

Молодой человек коротко посмотрел на него сквозь очки, отправил в рот кусок помидора и начал равномерно жевать. Стекла его очков были затемнены, никакого выражения во взгляде, да и самого взгляда они различить не позволяли — это было удобно.

— Я понимаю вашу реакцию, — добровольно признал небритый. — Еще раз: не обращайтесь внимания. На меня, на этот

мой разговор. Если бы можно было кому-нибудь объяснить, как неумоги́то стало выдерживать одному в четырех стенах, включать то телевизор, то радио, дожидаться, вдруг случайно услышишь слова. Не с зеркалом же разговаривать. Другим рассказать некоторые вещи попросту невозможно. Вы вправе ответить мне: «Ну и не рассказывайте, никто же вас не просит». И будете совершенно правы, я заранее соглашаюсь. И не навязываюсь, не подумайте. Но что же делать, когда становится совсем мучительно?.. Если б вы могли себе только представить! — Он поглядел с тоской на молча жующего собеседника. — Ищешь хоть какого-то облегчения, на что-то надеешься... Вы, надеюсь, не врач?

Тревожно выдержал паузу; молчания оказалось ему достаточно.

— Вот кого бы я действительно поостерегся — врача. Тот заведомо понял бы все не так, по-своему. В меру способностей. Я от них, можно сказать, в последний момент ускользнул. Нет, в принципе я ничего против врачей не могу иметь. Но медицинское знание по сути формально, поверхностно. При всех их подробных анализах, просвечивании внутренностей, с этими даже объемными цветными картинками, как теперь. Понять некоторые вещи может лишь человек, испытавший изнутри то же. Хотя встречу с таким человеком можно только вообразить. Вот ведь несбыточная надежда. Можно сказать, мечта. Мы все друг для друга слишком закрыты, поверхностью кожи, дополнительными оболочками. А вы для надежности еще и стеклышки свои затемнили.

Глаза у него были и впрямь измученные. Но смотрел ли на него сквозь свои стеклышки молодой человек с зализанными редкими волосами? Он аккуратно отрезал ножом сосисочный кончик, поднял на вилке, что-то дожевал, прежде чем отправить новую порцию в рот.

— Я отдаю должное вашему удивительному умению слушать, — сказал небритый. — Редкое достоинство, особенно в таком молодом возрасте. Молчание ведь ощущаешь, как пустоту, тянет ее заполнять, заполнять словами. С вами бывало такое? Особенно в дороге, да? со случайным попутчиком, когда знаешь, что никогда с ним больше уже не встретишься. Я сам предпочитал обычно не говорить, слушать. И уж тем более снисходительно, помнится, смотрел на бедненьких старичков, которым лишь бы рассказать кому-нибудь о своих болезнях. Даже если не ждут

ни сочувствия, ни помощи — лишь бы их выслушали. Уже легче. Но я-то далеко еще не в том возрасте — и вот что со мной творится. Сам от себя не ждал. Болезнь ослабляет психику. Да если еще боль!.. Но про свои боли я бы и говорить не стал, мужчина все-таки. Хотя без болей у меня тоже не обошлось, с них все и началось. Обычные, знаете, головные боли, и сперва вполне, я бы сказал, терпимые. К тому же случались они всего раз в неделю. Почему-то каждый раз по воскресеньям...

Он задержал на собеседнике многозначительный взгляд, дожидаясь реакции. Тот без заметного выражения на лице прожевывал очередную порцию пищи.

— Я тоже не сразу обратил на это внимание. Необъяснимая периодичность. Как по расписанию, утром, часов в восемь, начнет накаляться, а к вечеру отпускает. И на неделю оставляет в покое. Можно было бы и потерпеть, я уже потом подумал: пусть лучше бы так и тянулось. Удовольствия мало, но жить можно. Хуже самой боли было это изматывающее ожидание: пройдет день, другой, третий, а там ведь опять начнется. Перепробованы были, конечно, всякие известные средства, потом начал ходить по врачам. Вот это можно считать, наверно, первоначальной ошибкой. Чем больше меня лечили, тем приступы становились невыносимее. Не знаю, можете ли вы себе представить: этакие жужжащие сверла вгрызаются понемногу в мозг, все глубже, все глубже, и в самую серединку закладывают... как это назвать?.. вещество боли? Да, другого слова подобрать не могу: именно вещество. И оно уже изнутри начинает разъедать череп. Удивления достойно, как он еще выдерживал... Да что я об этом! Никому не пожелаешь, но это как раз многим знакомо. Один врач за другим предлагали свои объяснения, подыскивали свои средства — мучения только нарастали.

Он опять глотнул немного из кружки, облизнул пересохшие губы.

— Пока я не вышел, наконец, на человека, который серьезно принял мои слова. Насчет воскресной периодичности. Не стал отмахиваться, говорить про нервы, про психическое самовнушение и прочую муть. Называть его имя я, пожалуй, лучше не буду. Он в некоторых кругах человек, я знаю, известный, и относится к нему по-разному. У него имелась целая концепция о соответствии миров внешних и внутренних. Ну, упрощенно говоря: вроде того, что каждый мир существует внутри другого мира, но сам

для кого-то является соответственно внешним. Внутри одного живем мы, сам этот мир — внутри еще какого-то. А внутри нас живут органы, внутри них — миры более мелкого масштаба. Именно миры, каждый по-своему самостоятельный, иногда самовольный. И в то же время взаимодействия, соответствия, взаимосвязи, силовые линии, черт знает что — проходят через все уровни, соединяют их... Я понимаю вашу гримасу, — уловил он, наконец, слабое шевеление на лице слушателя. Впрочем, тому, возможно, попало что-то неприятное в помидорном салате; он, морщась, рассматривал мелочишку в пальцах, потом брезгливо отбросил в сторону. — Можно относиться к нему как угодно. Но он мне помог! Помог! Не берусь сказать, чем именно. И даже не уверен, что он сам мог бы наверняка сказать, вот ведь в чем фокус. Свой метод он называл комплексным: и порошки давал собственного изготовления, и сеансы проводил какого-то особого массажа. А может, главную роль сыграли эти вот разговоры, которыми он свои сеансы сопровождал. Как будто они отвлекали от боли — она стала отпускать во время первого же воскресного сеанса, через неделю прошла совсем, и уже не вернулась. Да...

Покачал опущенной головой, то ли усмехаясь собственному воспоминанию, то ли набираясь духу для дальнейшего сообщения.

— Зато еще спустя ровно неделю — я сумел отдохнуть единственное воскресенье, лишнего не получил — на меня обрушился приступ жесточайшей астмы. Для успокоения он отхлебнул еще немного из кружки. — Надеюсь, этого вы себе представить не можете — и не дай вам Бог испытать. Вот когда я пожалел об утраченной головной боли. Та была, конечно, мучительна, и все же ее можно было терпеть. Она должна была кончиться, она не заставляла тебя раз за разом почти умирать от удушья. Еще немного, казалось, и я бы просто не выдержал. Спасло меня на первый раз лишь то, что воскресенье успело кончиться. Даже вызвать по телефону доктора я не мог, он спокойно уехал на дачу. На другой день он меня принял без очереди, рассказ об этой новой напасти выслушал с веселым каким-то удовлетворением. «Очень, — хохотнул, — интересно. Думаешь, что уловил, на какие точки воздействовать, а откликаются соответствия совсем другие»... Я знаю, что вы сейчас думаете. Я в тот момент подумал, помнится, то же самое. Но не удирать же было. С ожиданием такой астмы! А он: «Не волнуйтесь, — говорит, — с астмой мы тоже справимся».

У меня, поверьте на слово, шевельнулось уже тогда что-то вроде предчувствия, но еще неотчетливого. «Может быть, — говорю, — вернуть как-нибудь головную боль?» Вроде бы шутя, с кривоватой, наверно, усмешечкой. Но на самом деле я, право, чувствовал уже больше, чем он. Врач — он есть врач, даже если такой. Засмеялся, похлопал успокоительно по плечу. Оценил шутку.

Небритый попробовал потянуть губами еще из кружки, но там оставалась уже только пена.

— Нет, надо этому человеку безусловно отдать должное, от астмы он меня в самом деле избавил. Я отблагодарил его, как мог. Набор коллекционного коньяка преподнес, он это любил, то, се. И с благодарностью распрощался. Он даже, кажется, не вполне поверил, что все так эффектно закончилось. Раз-другой потом сам мне звонил, намекал, что если у меня проблемы со средствами, он готов помогать мне бесплатно. Случай мой его, конечно, заинтересовал, любопытно было проследить, поупражняться дальше. Как будто таким исходом он был даже разочарован. Как будто заподозрил все-таки, что я утаил от него дальнейшее. Симулировал, так сказать, исцеление. Но разве я теперь стал бы ему рассказывать, что со мной происходит по воскресеньям? Такого и рассказать невозможно. Не испытывшему этого не понять...

Он еще раз выжидательно посмотрел на молодого человека. Тот покончил с едой, неторопливо потягивал пиво.

— Думаете, ваши очки добавляют вам непроницаемости? — с неуверенной усмешкой сказал небритый. — Зачем они при таком тусклом свете? Если признаться начистоту, мне еще на расстоянии почудилось в вас, представляете, что-то близкое. Когда вы у стойки заказывали что-то, спиной ко мне, движения у вас мне показались не совсем обычными. Я подумал: вдруг родственная душа? Не единственный же я, в самом деле. Я вас, не обессудьте, приманивал взглядом... можете усмехаться. Но действительные встречи в реальности вряд ли возможны. Мы все друг для друга непроницаемы, как ни пытаемся объяснить, рассказать что-то. Обыкновенных слов оказывается недостаточно, вот в чем проблема. А может, слов для этого просто еще нет. Внешне и у меня проявлялось только в движениях. Поначалу это казалось похоже на нервный тик... Да что я! Какой тик! Скорей, судорога, внезапная. Точно дергает тебя вдруг электрическим током. Вы только попробуйте представить себе: идешь по улице, останав-

ливаешься, чтобы пропустить машину. И вдруг тебя именно передергивает. Нога в тот, в первый раз мгновенно сунулась прямо под колесо — и тут же отдернулась. Никто не успел ничего понять, ни я сам, ни водитель. Он проехал дальше, словно не сумел поверить в это дерганье, решил, что почудилось. Но как же много в тот миг мне одновременно успело открыться! Остановившийся зрачок я увидел отчетливо, как под увеличением. Губы, сложенные трубочкой для свиста... он подсвистывал арии из приемника. Увидел движение ресницы, отдельные пылинки и царапину на автомобильном капоте. И одновременно воспринял всю улицу с домами вокруг... прохожих, слава Богу, поблизости не оказалось. Две вороны пролетали с криком над головой... Нет, об этом мгновении можно рассказывать без конца, всего не переберешь, не исчерпаешь, поверьте. Голос из приемника пел арию по-итальянски, я этого языка не знаю и сейчас ни слова воспроизвести бы не мог — но в тот миг я все слова понимал, именно понимал отчетливо. И нездоровый сбой различил в работе мотора, как бы покашливание — правильных слов для этого я просто не знал никогда, я вообще в моторах не смыслю, но неисправность почувствовал, понимаете? И движение крови в своих сосудах ощутил, и напряжение пульса. Боли я, можно сказать, не воспринял. То есть, она, допустим, была. Электрический разряд... как же не было... вспышка молнии. И, конечно, испуг... Но слова опять не совсем подходят. Невероятное потрясение, вот что это было такое. Особенно в тот первый раз... так внезапно. Это и потом повторялось внезапно, но все-таки внутренне я уже был как бы готов. Ситуации возникали чудовищные, небезобидные. Вот так же, представьте, идет по улице молодая женщина, ест мороженое — а у тебя вдруг рука дергается, и прямо к ней, к животу... Вы, кажется, смотрите понимающе на этот мой фингал. Нет, это в другой раз, это именно позавчера. Там было другое. Но эта женщина... она шла одна... Я вдруг ощутил и понял женское существо, целиком, понимаете? Вместе с завязью новой жизни, в сочной темноте внутри тела... О, Господи, слова мне, увы, не даются! Рассказывать можно о всем понятных вещах. О своей личной, обыденной жизни. Кто я, с кем живу, как другие терпят мою болезнь. Но кому это может быть интересно? Для меня самого эта жизнь потеряла значение. Невыносимо терпеть неделю до воскресенья, вот в чем подлинный ужас. Слава Богу, совпало так, что меня в эти дни терпеть на самом деле никому не

приходится. Одиночество тоже вещь не слишком веселая: когда задыхался, как прежде, и некому было рядом помочь, позвонить врачу. Но кто бы меня, такого, теперь выдержал! В одиночестве легче по воскресеньям обезопасить себя, избежать недоразумений. Я приспособился в эти дни выбираться за город. О, посмотрели бы вы на меня в лесу! Я становился, наверно, временами похож на глупую молодую собаку. Вдруг ноздри вздрагивают, я кидаюсь к кусту, ничком падаю. Бусинки маленьких глаз смотрят на меня из прикорневой ямки. Даже у зверька не хватает реакции вовремя юркнуть в укрытие. Но я на какой-то миг знаю, как называется этот зверек, чувствую его запах, слышу биение сердца. Слух — о! — и слух открывается. Я слышу движение соков в стволе дерева... дыхание пор, шевеление корней под землей... Вы вправе не верить мне. Слова сплошь и рядом какие-то не те. Но они тоже на миг словно мне открывались. А потом — потом все пропадает. Пробоуешь что-то вспомнить — где там! Ничего понастоящему не вернуть... Я знаю, вы мне сейчас скажете: такое у всех бывает спросонья. Привиделось что-то необыкновенное, просыпаешься — не поймать даже хвостика. А некоторые, если совсем болезненно затоскуют, известным уколом могут себе помочь, да? Но это именно не химеры. Это принципиально другое, противоположное. Тут самая что ни на есть реальность. Предельная реальность. Даже когда летаешь взаправду... буквально, позавчера такое со мной случилось. Я сорвался с большой высоты. Потом сам поверить не мог, что остался живой. Нет, синяки не от этого. Я не то чтобы управлял полетом — тело управляло само собой. Время словно потеряло вдруг свое измерение. Я увидел перед собой птицу, она раскрыла беззвучно клюв, лапки прижаты, в перьях греются мелкие насекомые. Я увидел струи, потоки воздуха, они были разноцветные: слегка желтоватый, слегка голубой. И вдруг — чей-то голос! Отчетливый, понимаете? «Профиль ветра, полет в никуда, синяя тень накаляется до черноты»... Меня больше всего пронзило сознание, что эти слова не могли быть моими, потому они, наверно, так и остались в памяти. Другие же не оставались. Я еще не понимал, что случилось. Наугад, не зная зачем, вскарабкался на обрыв, прошел еще немного — и увидел у костра небольшую компанию. Они как раз собрались разводить костер, машина была неподалеку, играл приемник с какой-то невнятной музыкой. Если б не прозвучали те слова так отчетливо, я бы поостерегся подходить к людям. Надо было, видите

ли, выяснить, не слышал ли их здесь кто-то, не произносил ли... Представляю, какое впечатление я на них произвел... еще не вполне опомнился. «Вы, может, про те стихи?» — переспросила меня девушка... девушка была с ними. Мне почему-то самому не пришло в голову, что это прозвучали стихи, по радио, их сразу же выключили или переключили, им не нужны они были. И никому объяснить было невозможно, при чем тут стихи, зачем они мне нужны. Не хватало только к ним приставать. Одна лишь собака смотрела на меня понимающим взглядом. Таким понимающим!.. Я единственный раз ощутил — как же это назвать? — что-то вроде встречного сознания... только бессловесное... как бы тление без огонька. Слов у нее не было даже таких зачаточных, как у меня. Такого со мной еще не случалось: второй приступ почти без перерыва. Собака — что! Собака все-таки не человек. Вот... — Он завернул рукав клетчатой рубашки на правой руке, показал следы красных отметин в желтых йодных пятнах. — Но ведь существовали, значит, слова! Как же их было найти, где? Я стихами никогда не интересовался, у меня дома и книг настоящих нет. Наугад разве найдешь? Можете смеяться: я эти два дня включал телевизор, радио — оттуда лезло что-то совсем непереносимое. И до воскресенья еще надо дожить. Но вдруг, я подумал, встретишь на самом деле... как-то стесняюсь это слово произносить... поэта?.. Пусть не того, другого. Да хотя бы случайное понимание? Возможно такое ведь, правда?.. вы кому это?..

Молодой человек не смотрел на него, он оживленно жестикулировал, оборотясь к кому-то, появившемуся во входных дверях, помогал себе преувеличенными движениями рта. Одутловатый толстяк в джинсовой куртке, с неряшливыми рыжими бакенбардами на щеках отвечал ему энергичными знаками понимающих пальцев.

— А... вот, значит, в каком смысле, — уяснил положение небритый. Приподнял перед собой пустую рюмку, искал в ней взглядом остатки, хотя бы на доньшке. Не нашел, но все-таки подержал перевернутую над открытым ртом, дал стечь последней капле. — Поэт, не поэт... да с ними тоже бывает, наверно, не каждый день, — сказал он сам себе, без особой надежды прислушиваясь к воздействию капли. — А если у них только по пятницам?

И приподнял вопросительно брови.

МЫСЛЬ О НЬЮТОНЕ

Яблоко упало на темя
Сморщенное усохшее на ветке
Как неразвившаяся идея

СОЛОВЬИ

Оказывается, соловьи тоже учатся у мастеров
А также у природы
Знаменитые курские певуны
Славились «лягушковыми» коленцами
Россыпи гремушки кваканье
В соловьиной аранжировке
Вызывали восхищение знатоков
Совершенствовались
Передавались из поколения в поколение
Война повыбила лучших
Потом повырубили леса
Осушили болота
Не у кого стало учиться
Каждый сам по себе
В меру способностей
Пробует возобновить умение
Надеясь на появление гения

ПУТЬ К ЖИЗНИ

Я опаздываю на первую же встречу со своей съёмочной группой. Вина не моя, но что им теперь объяснять! Перед самым выходом из отеля позвонили, что машину за мной прислать не могут, сломалась, такси вызывать нет смысла, есть удобный трамвай прямо до студии. И, как бывает в таких случаях, куда-то запропастились в последний момент бумаги, никак их не удавалось найти, трамвай заставил себя ждать, потом, не доехав до места, свернул в депо, пришлось выбираться по незнакомым, безлюдным, как в воскресенье, улицам, спрашивать дорогу у редких встречных, которые не могли почему-то понять, какую мне нуж-

но студию, показывали неопределенно в разные стороны, пока небритый мужчина в полосатой пижаме, выглянув из окна первого этажа, не ткнул пальцем в забор напротив, и я обнаружил, что уже несколько раз проходил мимо малоприметной таблички.

Никто меня даже не встретил. В павильонах полутемно, пустынно — изволь их теперь искать в незнакомых дебрях. Чего-то подобного следовало ожидать. Я для этой группы не просто чужой — пришлый, навязанный, нежеланный. Меня пригласили срочно спасти уже запущенный в производство фильм взамен неожиданно выбывшего режиссера. О причинах его отставки говорилось невнятно: за официальной версией о внезапной болезни, которая сделала продолжение работы для него невозможным, угадывалась история скандальная, злоупотребление наркотиками, психический сдвиг. В последнем своем интервью он многословно и путано рассуждал о чувстве, когда все происходящее с тобой, неожиданные события, переживания, умственные догадки оказываются в конце концов не совсем твоими, словно, блуждая по жизни, ты после разных проб и ошибок лишь добираться до решений, уже заранее заданных — весь фильм становится попыткой вырваться за пределы этого чужого, ненастоящего мира...

Просмотр уже отснятого материала производил впечатление болезненное: хаотический набор испорченных, плохо сфокусированных кадров, какие отрезаются от ленты для отправки в брак. Лицо, размазанное по оконному стеклу — когда окно распаивается, лицо остается таким же нечетким. Смутные фрагменты нагих тел в полутьме, страстные всхлипы и шепоты — на переднем плане, освещенная ночником, все это время присутствует спокойная крупная муха, она тщательно, одну за другой, чистит лапки. Закадровый бурный спор, переходящий в драку, тени мечутся по стене — главное место в кадре все это время занимает скомканный лист бумаги; он почему-то внезапно вздрагивает, порывисто, сам собой, расправляется, и это продолжается чудовищно долго, внутри комка обнаруживается вновь и вновь напор непредвиденных сил, ждешь, как идиот, очередного вздрагивания.

Бессмысленно было разгадывать, какое отношение все это могло иметь к сценарию, называвшемуся «Путь к жизни». Ни сюжета, ни даже лиц. Болезненный срыв, конечно, бывает разрешением творческого тупика — и ведь он создает вокруг несостоя-

тельного творца ореол незаурядности, непонятости, чуть ли не мученичества. На съемках этот мэтр, говорят, мог вести себя хамски, матерился на женщин. Но такова человеческая психология, а женская, может, в особенности: в воспоминании разнузданность начинает выглядеть проявлением особого артистизма — разве заменит обожаемого деспота нежеланный, вежливый, никому еще не известный, удручающе нормальный чужак?..

Меня о возможности такой встречи предупреждали, я это отношение смог ощутить даже по телефону. И вот теперь еще, как назло, опаздываю. Забастовку, что ли, они решили продемонстрировать? Свет выключен, непонятного назначения составные конструкции теряются в полутьме под высокими перекрытиями. Предметы аппаратуры торчат из разных углов, сверху, с боков. Ты словно забываешь вдруг, как называются эти черные штуковины, усевшиеся наверху рядами, точно громоздкие черные птицы на жердочках, спрятав головы под металлические кожухи. Самих слов как будто еще не существует. Мир еще не сотворен, здесь все лишено смысла, пока ты его не проявил, не вспомнил, не воссоздал, не соединил разрозненные частности мыслью и действием — такой растерянный, такой слабый, такой беспомощный.

Хорошо, что вы не видите меня сейчас, — бормочу я, сам себе усмехаясь, — не слышите, как бьется у меня сердце. Перед каждой съемкой, что поделаешь, бывает страх, как в юности перед экзаменом. Но не надейтесь, что ваш демонстративный прием меня в самом деле смутит, что я откажусь от работы. На съемках вам придется иметь дело совсем с другим человеком... о, вы еще убедитесь! Я сумею, если понадобится, прикрикнуть не хуже вашего ушедшего божества, поставить кого надо на место, а кому надо — польстить вовремя. Не привыкли обходиться без матерщины — полезут из меня такие слова, что сам с удивлением буду вслушиваться. Откуда что возьмется? Я обнаружу в себе такое, чего не подозревал прежде. Я могу показать вам, как вы должны танцевать, хотя сам этого никогда не умел. Я могу остановить движение на улице, которую только что боялся перейти. Я ставлю десятки, сотни людей двигаться, как мне надо, делать то, что сейчас, вдруг пришло мне на ум. Понадобится переспать с актрисой — не сомневайтесь, не уклонюсь и от этой барской повинности, не ради сомнительного удовольствия — только бы любым способом утвердить свою власть. Я, допустим, не так зна-

менит, как ваш выбывший из игры мэтр, зато помоложе его, как раз на подъеме, сил хватит. Не просто ради честолюбия или денег мне надо взяться за эту работу, тут для меня вопрос жизни...

Вот, наконец, освещенное место. Дверь в артистическую уборную приоткрыта. Женщина сидит спиной ко мне перед зеркалом, парикмахерша рядом с ней осторожно пытается расчесать плохо поддающуюся гриву волос. Лицо женщины в зеркале густо набелено, брови, поднятые к переносице, выражают страдание, ей больно. Парикмахерша замечает меня, улыбается, как знакомому.

— Может, лучше снять это вообще? — говорит она. — Чтобы не мучилась? Как по-вашему?

Ага, все-таки обращается ко мне, — отмечаю я. — То есть, наверно, узнала или догадалась, что я режиссер, естественно спросить у меня совета. Но из нашей ли она группы? Я ни в чем пока не могу быть уверен, никого не успел даже увидеть. Что вообще значит ее вопрос?..

Прежде, чем я успеваю сообразить, парикмахерша двумя руками сдавливает голову женщины у висков, поворачивает ее слегка, потом сильнее, вместе с шеей. Что она делает? — вздрагиваю я. Так не снимают парик!..

Лишь в следующий момент до меня доходит, что перед зеркалом не женщина, а манекен. Эта кокетка вздумала со мной пошутить. Лицо не в меру замазано гримом, в редкозубой улыбке что-то есть неприятное. Она вовсе на самом деле не парикмахерша. И уборная не настоящая, выгородка какой-то чужой декорации. Своих декораций я, впрочем, еще не знаю, но в сценарии ничего похожего не было.

— Вам надо на съемки? — приходит женщина мне на помощь. — Вон через ту дверь прямо и выйдете, все уже там. Подождите, я вас сама провожу. Там помещение совсем темное. Дайте мне руку...

Затхлостью, настоящей на человеческих выделениях, дохнуло из темноты. Густой храп, тяжелое, со стоном, дыхание, едва различимые тела ворочаются на двухэтажных нарах. Куда она меня завела?

— Подождите, постоит здесь минутку со мной... я вам должна сказать, — возбужденным шепотом задышала мне в ухо женщина. — На открытом месте к вам подойти не рискнут, но пока в темноте... Многие там на вас надеются, ждут. Но вы все-таки че-

ловек новый, а люди тут так растеряны, перепуганы, не уверены, что теперь будет. Не обращайтесь внимания, если что. Нас так муштровали, оглядываемся до сих пор. У меня даже остался рубец от хлыста... вот тут, можете потрогать рукой... ну, подождите же. Спешить все равно незачем, поздно спешить... Вот... нет, вот здесь... чувствуете?..

— Кто посторонний тут шляется? — раздается сильный спросонья голос. Полоска света из дверной щели отблескивает в стекле бутылки, слегка привыкшие к полутьме глаза различают на столе рядом с ней кокарду форменной фуражки. Кто-то, дремавший за столом сидя, приподнимает голову, на шаривает выключатель. Под моими пальцами нежная женская грудь... Вот она что затеяла! В темноте, значит, нас не услышат!..

Я вырываюсь из ее руки. Движение получается слишком резкое, не удастся удержать в темноте равновесие — споткнувшись, стукаюсь головой обо что-то, царапаю щеку. Фанерная перегородка пошатнулась от моей тяжести, я чувствую, как халтурная легкая декорация начинает неумолимо крениться, рушиться и, ничего не видя, пригнув голову, прикрыв ее для защиты руками, а может, слегка вдобавок зажмурившись, напролом, вслепую пробиваюсь куда-то, словно сквозь распадающиеся стены, сквозь затяжной обвал...

Ярко вспыхнувший свет на мгновение меня ослепляет. Не сразу удастся понять, где я. На городской улице посреди мостовой установлена съемочная аппаратура, кресло с оператором высоко поднято на тележке с краном, один за другим включаются все новые юпитеры. Несколько человек с разных сторон оглянулись на произведенный мной шум и тут же отвели взгляд — из деликатности или ничего особенного не обнаружив. Я озираюсь: за моей спиной груда строительного мусора, прикрывавший его забор повален. Но это же не я... я этого не мог натворить... я выскакивал откуда-то не отсюда. Без освещения все имело другой, непонятный вид, уже невозможно сориентироваться. И где осталась та женщина?..

А тут, значит, уже все готово к началу съемок. Можно подумывать, мне без лишних слов демонстрируют: вот мы, только вашего появления ждали, не думайте о нас плохо. Мы против вас на самом деле ничего не имеем, это вы уж вообразили. Опоздали, конечно, да с кем не бывает; не придавайте значения. Теперь можете приступать, без лишних разговоров входите в работу... Та-

кого я в самом деле не ожидал. Надо будет им объяснить... попросить извинения, что ли? Только ведь не так сразу, я ни с кем еще не знаком, даже не представляю, что они собрались делать. Для начала надо все-таки оглядеться. А то со мной и впрямь чего только не бывало. Как-то я опоздал в крематорий, увидел, что несколько немолодых людей уже извлекают гроб из похоронной машины, им не хватало помощи, и с чувством неловкости за опоздание я поскорей подставил свое плечо, внес вместе с ними покойника в зал — но, лишь опустив гроб, увидел перед собой совершенно чужое, костяное лицо...

Почему-то не удавалось отделаться от чувства, что сама улица уже мне знакома. Как будто я только что именно здесь блуждал в поисках студии, забор этот еще стоял, и была проходная с табличкой. Разные улицы бывают, конечно, похожими. Но вот и небритый мужчина в том же окне, и полосатая пижама на нем. Он словно дожидался моего взгляда, подмигивает мне, как уже знакомому (я на всякий случай оглядываюсь: мне или кому-то сзади меня?) В руке у него водочная стопка, за распахнутой створкой рядом виден аквариум, густо заполненный водяной зеленью, в глубине комнаты старомодный буфет. Он опрокидывает стопку единым глотком, крикает, потом, потянув щепотью из аквариума длинные водоросли, заталкивает их в рот, под щетину, с аппетитом жует. И опять подмигивает. Все-таки мне. Он меня знает. Знает, кто я. Может быть, предлагает свой эпизод на заметку, в будущий фильм. А что, надо будет его запомнить, — думаю я. — Смачно ведь у него получилось. Статист он, исполнитель роли или просто один из уличных зевак?

Вот они, группами и поодиночке уже собрались на пустынном время назад перекрестке. У некоторых зачем-то рюкзаки и наплечные сумки, у других чемоданы и даже, как в старину, котомки. Можно бы принять их за новобранцев, направляющихся к сборному пункту, но тут есть и пожилые, и женщины, одна даже беременная. Несколько бородатых мужичков в потрепанных ватниках вызывают мысль о крестьянах, уходящих на работы, а может, о лагерниках. Не могу вспомнить, какое же место в сценарии приготовились тут снимать. Надо взглянуть...

И вдруг я осознаю, что в руке у меня больше нет папки. Я обронил ее где-то там, в темноте; среди прочих бумаг был и сценарий. Вот ведь еще некстати!... Впрочем, ладно, без сценария можно в конце концов обойтись. Я ведь и так собирался в нем

многое изменить, что-то выбросить. Мой предшественник вообще явно относился к нему, как к условной заявке, сценарий ему надо было пробить, чтобы получить деньги для съемок, потом он просто на него внимания не обращал. Дело известное. Что-то чаще всего складывается само собой, не то что помимо твоей воли, а вопреки ей. Мы лишь задним числом выдаем это за результаты своего замысла, своих действий. Знать бы только наверняка, моя ли это все-таки группа, к себе ли я, наконец, попал. Не обязательно спешить. Пока пройдешь, не торопясь, к операторскому месту среди этих людей, имеет смысл по пути прислушаться, о чем они говорят. Впору, конечно, досадовать, что ты настолько для них неизвестен; но по-своему это и хорошо, больше услышишь.

— А теперь куда? — слышу я рядом с собой — и слегка задерживаю шаг, но головы к говорящему не поворачиваю.

— Кому куда, — откликается усмешливый мужской голос.

— Это конечно, — соглашается еще один.

— Но должны же быть указания?

— Указатели дальше есть, так говорят. Помечено там-сям разными красками. Кто про них знает, тот ориентируется.

— Не верю я этим байкам.

— Но ведь одни попадают, куда надо, другие нет.

— Как повезет.

— Это не угадаешь.

— Прислушивайся, как говорил один, к внутреннему голосу.

— Нет, знать тут все равно ничего нельзя. Вот, вроде бы суетимся тут каждый на свой лад, тычемся. Но лишь когда главный снимет общий план, сверху, откроется что-то вроде узора. То есть, если уютно, смысл. Внизу этого даже не представляешь...

— Может, они вообще снимают, когда мы даже не думаем? Аппаратура вокруг — так, для отвода глаз. А потом однажды вдруг скажут: смотрите, вот вы какие на самом деле...

Что они обсуждают? Какой вздор!.. Нет, пора, наконец, заявить о себе, взяться за дело, а то неизвестно, до чего без меня тут дойдет. Если они настолько меня не знают, я для них, конечно, пока никто. Им только еще предстоит почувствовать, как много я буду для них значить — когда начну объяснять идею, выстраивать их характеры, судьбы, роли, события. И они для меня тогда станут кем-то... Но вот, кто-то меня то ли уже узнает, то ли начинает догадываться. Женщина со скуластым азиатским лицом

робко поглядывает в мою сторону, она явно хочет меня о чем-то спросить, только не решается. Наконец, прихрамывая, делает ко мне шаг-другой. Придерживаясь за фонарный столб, снимает туфлю, осматривает. Каблук у нее скособочился, вот-вот отвалится. Поднимает на меня растерянный, измученный взгляд.

— Не знаете, есть здесь где-нибудь ремонт обуви? Я не могу так дальше идти.

— Ремонт? — переспрашиваю я. Всего только... Я ожидал другого вопроса.

— Нашла кого спрашивать, — оттаскивает ее за рукав назад, от меня подальше, немолодая женщина с сигаретой в губах. На голове старомодная, валиком, шляпка; большие темные очки прикрывают сеть морщин вокруг глаз. — Потерпишь, сколько понадобится.

Стоящие вокруг смехом подтверждают правоту ее слов. Почему они смеются над ней, как над неразумным ребенком? Неужели в самом деле боятся меня?

— Но я так не могу... Я никуда больше не пойду. — Взгляд женщины не отрывается от меня: вмешаюсь ли я, помогу ли?

Да, вот как раз самый случай вступить, заявить о себе, сказать действительно нужное слово.

— А почему кто-то считает, что каблук — мелочь? — говорю я. — Из таких мелочей, из таких эпизодов складывается повседневная жизнь, то, что называется ее сюжетом. Нам именно ее надо осмыслить, почувствовать. Разве можно на таком каблуке отправляться в дорогу, тем более если еще неизвестно, что там, впереди? Нет, без ремонта не обойтись. Значит, нам понадобится непременно сапожник. Вот прямо тут на углу хорошо будет поставить сапожную будку. Вроде той, дяди Мишиной, был когда-то у нас добрый такой инвалид, хотя и пьянчужка. Не знаю, может ли кто сказать, почему с этой профессией традиционно связано представление о выпивке? Слышали такое присловье: «Пьет, как сапожник»? Тут уже своя мифология, не наше дело ее объяснять, нам важен образ. А он умел выпить, я вам скажу, заразительно, выпьет и приговаривает: «Ух! До пальцев ног дошло!...»

Сочувственный, понимающий смех ободряет меня. Они уже прислушиваются ко мне, готовы меня принять.

— Вот вы бы могли изобразить, между прочим, у вас получалось похоже, — я нахожу взглядом небритого, он так все и смотрит на нас из своего окна. — Да, да, это я вам. Выходите сюда, ко

мне, я покажу. У него была особенная походка: левое плечо как будто спешило опередить остальное тело. Примерно вот так... Ну, вот и замечательно, что вы снова смеетесь. От таких мелочей может зависеть, состоялась или не состоялась роль, вот что я считаю нужным вам объяснить...

— Что там за посторонние разговоры? — в мою сторону, заставляя расступиться собравшихся, продвигается молодой загорелый бородач почему-то в камуфляжном наряде. — Зачем вы отвлекаете людей от работы?

— Отвлекаю посторонними разговорами? — я смотрю на него насмешливо, скрестив на груди руки. — Я здесь, видите ли, как раз работаю.

— Что значит работаю? Вы у меня не отмечались. Где ваше место?

Снова слышится разрозненный, неуверенный смех. Ах, эти люди в толпе, они всегда готовы склониться на сторону, которая им кажется более сильной.

— Отмечаться у вас мне вовсе не нужно, — говорю я спокойно, неторопливо, оттягивая эффектное торжество. — Я, к вашему сведению, не из массовки.

— Кто он такой? — раздается голос откуда-то из усилителя сверху. Я замечаю, что люди вокруг, как и я сам, вздрагивают от неожиданности.

— Да, кто вы, позвольте спросить, такой? — повторяет вопрос бородач. В тоне его уже нет прежней самоуверенной наглости; он выжидательно похлопывает изогнутым хлыстом по голенищу высокого военного сапога. Все та же непроясненность еще мешает мне ответить ему, как он заслуживает. Могли бы меня знать хоть по фотографиям, не настолько же я неизвестен. И вот же скуластая что-то шепчет на ухо пожилой в очках.

— Плохо, что вы меня не знаете, — говорю я спокойно и холодно. — Однако придется узнать. Я теперь здесь у вас режиссер.

— Режиссер? — переспрашивает он без удивления и даже без интереса. Вот ведь опять — не такой реакции я от него ожидал. Достает из нагрудного кармана бумажку с каким-то списком. — А фамилия?

Я называюсь в некоторой растерянности — теперь мне уже почти хочется, чтобы выяснилось недоразумение, я все-таки не к себе попал. Пусть даже неловкость, но все хотя бы станет на свои места...

— Есть такой, — находит он меня в списке. (Вот оно как! Значит, надежда не оправдалась.) — Пожалуйста, занимайте свое место, все давно ждут. А узнать вас в таком виде — попробуйте. Вы себя зачем-то разукрасили не знаю как... и еще к нам претензии. Марья Васильевна, приведите, пожалуйста, лицо режиссера в порядок, пора уже начинать, в самом деле...

Я невольно трогаю рукой щеку. На ладони отпечатывается полусохшая кровь. Ободрал, видимо, в темноте, так сильно, и не заметил. А он что, высказался в том смысле, что это у меня грим? Или хотел таким образом скрыть собственное смущение? Вон, удаляется, как ни в чем не бывало, на ходу раздавая попутные распоряжения, хлопывая по голенищу хлыстом... Наглец, однако... надо будет с ним в первую очередь разобраться.

— Отойдемте немного в сторонку, — трогает меня за рукав кто-то. Я оборачиваюсь к женщине, словно все еще не понимая происходящего. Голос знакомый, но лицо под густым гримом выглядит в ярком свете совсем не таким, как только что. Раскрывает, приподняв колено, чемоданчик с примерными принадлежностями.

— Кто это такой? — показываю я взглядом на удаляющегося бородача. — Почему он так распоряжается?

— Ассистент режиссера, кто же еще? — Она смотрит на меня удивленно, словно не уловив шутку. — Подержите-ка, пожалуйста, одной рукой баночку. Поставить здесь некуда.

— Ассистент режиссера? — переспрашиваю я. — Значит, мой помощник?

— А чей же еще? Ну, вы юморист! — отдает она, наконец, мне должное. Редкозубая улыбка делет лицо снова знакомым. При таком свете даже под густым гримом видно, что лицо уже не первой молодости. — А в эту руку возьмите, будьте добры, коробочку. Вот так...

Ватным тампоном подсушивает мне щеку, мягкой кисточкой проводит по лбу. Присесть здесь негде, в зеркале себя я не вижу. Но прикосновение приятно, никого ближе нее здесь сейчас для меня нет, хочется найти с ней общий язык.

— Думаете, мне ваша помощь нужна? — говорю, усмехаясь, я. — Странная идея. Больше смысла имела бы медицинская помощь. Не грим, а хотя бы йод.

— Ну, вы меня еще мало знаете. Я вас лучше медика приведу в порядок. Будете совсем как новенький, никто и не догадается.

На съемках ведь такое бывает, сами знаете. Начнут разыгрывать какую-нибудь драку — сейчас ни в одном фильме без этого не обходится — и так войдут иной раз в роль, чуть не до смертоубийства доходит. И остановить нельзя, это же лучшие кадры. Тут самая начинается для меня работа. Лицо по-настоящему только в работе и возникает. Никто про себя не знает, как он выглядит, пока не увидит лицо на экране. Для вас, режиссеров это называется «создавать образ», правильно я говорю?.. Что вы так морщитесь, вам же не больно? Я знаю, вы тоже, как он, выбросили сценарий, вы чувствуете свою силу. Тем более в таком возрасте, у вас все впереди. Я, может, вам кажусь в этом смысле не подходящей, но вы просто не знаете, какой я могу быть.

— Хватит с меня этого. Хватит, — отвожу я от себя ее руку. Она занимается уже не только лицом. Зачем-то расслабила галстук, расстегнула рубашку, водит по груди неприятно холодными пальцами. О, с ней надо быть начеку. Вздумаешь переспать в самом деле с такой вот, а окажется, переспала-то с тобой она, и власть над тобой перехватит — не успеешь моргнуть. Известное дело. — У меня свои представления, свои планы. Я и пришел сюда сделать то, чего не смогли другие. О каких вы говорите лицах? Лиц-то я как раз до сих пор не видел, он, достолавный мэтр ваш, ими не интересовался, то-то и оно.

— Тише, не так громко, я же предупреждала, — делает она знак рисованными бровями. — Думаете, вы все уже видели, все материалы знаете? Всего вам, поверьте, и не показали. Вы можете думать, что его больше тут, с нами, нет. Но рубец-то, рубец остается на всю жизнь, этого не забудешь...

— Внимание! — гремит откуда-то из пространства, сверху усиленный голос. — Режиссер, наконец, на месте, мы можем начать. Некоторые уже решили: слинял. Нет, он теперь с вами, за работу готов взяться. Отдадим должное его мужеству. Вы знаете, сколько всем до сих пор было обещано, видите, что тут творится на самом деле. Декорации на глазах рушатся, свет недостаточный, пленка некачественная, деньги уже на исходе. Будем надеяться, теперь пришел человек, который возьмет на себя ответственность, объяснит нам, что собирается делать дальше. Прежде, чем предоставить ему слово — для информации: плакаты, лозунги и все прочее заготовлено, вам раздадут. Не удивляйтесь, если кто получит пустое полотнище, без надписей. Не все надписи еще сделаны, не все даже утверждены. В процессе, будем наде-

яться, станет ясно, какие на самом деле понадобятся. Режиссер, просим вас...

Бурные усиленные аплодисменты звучат из невидимых динамиков. Я озираюсь в недоумении. Несколько человек поближе ко мне аплодируют неуверенно, неслышно, другие, как я, оглядываются, ищут кого-то взглядом. Как мне теперь говорить? Каких слов он от меня требует?

— Я не знаю, чего вы от меня ждете, — говорю я достаточно громко — но тут же осознаю, что голоса моего уже в нескольких шагах не слышат. Мне даже не позаботились дать микрофон — и где его взять? Люди там, сям все еще оглядываются по сторонам, ищут меня. Скуластая женщина, скособочившись на сломанном каблуке, взглядом, исподтишка, незаметно для других показывает мне на небольшой помост из металлических конструкций. Я понимаю этот ее взгляд, благодарно киваю и вскакиваю на помост, радуясь молодой легкости своего прыжка — пусть видят.

— Я никому ничего не обещал! — кричу я, вновь чувствуя бесильно, что голоса моего все равно не слышат. Что делать? Продолжать все равно нужно. — Я только приступаю к работе, оправдываться мне не в чем. Нам предстоит пережить с вами события многих лет. Сюжет до конца все еще не вполне ясен. Никто наверняка не может знать, что ему предстоит. Не стану вас уверять, будто уже знаю сам, как будут выстроены события. Я властен над ними не больше прочих. Но только не слушайте досужих фантазий о каких-то узорах, каком-то смысле, который будто бы может открыться неизвестному взгляду сверху. Наше дело, позволю себе так выразиться — повседневным, трудным усилием выстраивать жизнь, преодолевать ее невнятицу, хаос. Для этого я сюда и пришел. И не напрашивался, поверьте. Я взялся за эту работу, чтобы ее спасти. Хватит ли у меня на все сил, нет ли — заранее сказать не могу. Каждая работа для меня — кровь из носа, на пределе отчаяния. Но я не отказываюсь...

— Bravo! Аплодисменты! — одобряет свысока громогласный голос.

И аплодисменты звучат снова, усиленные мощной техникой — записанные на пленку аплодисменты.

— Задача вам ясна, — продолжает из громкоговорителя голос. — Свобода, как вам сказали, — не хаос, это воля и замысел.

Надо держать жизнь в руках; кому положено, должен об этом заботиться. Пункты движения обозначены. Порядок будет поддерживаться необходимыми средствами...

Кто это меня комментирует, — озираюсь я, — почему он переиначивает мои слова? По какому праву? Почему микрофон даже здесь оказывается предоставлен не мне, а неизвестно кому, вспомогательному, в конце концов, персоналу? И почему же остальные так радостно оживлены? Гремит оркестр, кричат птицы, но ни оркестра, ни птиц не видно. Эта музыка, весь этот шум вместе с оживленным смехом воспроизведены усилителями. Охранники в камуфляжной форме, словно мои размножившиеся помощники, собирают людей в колонну.

— Почему вы им подчиняетесь? — кричу я им со своего поста. — Куда вы собрались?

Громадная тень размахивает руками на противоположной белой стене, повторяя мои движения. Это моя тень — и все смеются, показывая на нее пальцами. Стена возвышается над прочими постройками, голая, без окон. Я до сих пор ее словно не видел.

— Вы не туда смотрите! — кричу я. — Обернитесь ко мне, ведь там всего только тень! Я хочу вас предупредить: не поддавайтесь обману! Не поддавайтесь чьим-то словам о порядке! Вы даже не подозреваете, куда вас сейчас поведут...

Тонкая изогнутая тень пересекает экран над тенью, воздевшей руки. Усиленный громкий хлопок, новый взрыв хохота. Жгучая боль отдается в моей спине.

Да что же это такое? — озираюсь я, ничего не понимая, не веря себе сам. Это настоящая боль! Надо как угодно очнуться, опомниться, придти в себя. Такого не может, не должно быть! На экране всего лишь тень скорчилась от боли, недоумения, страха.

— Почему вы смеетесь неизвестно над чем? — кричу я. — Знаете ли вы вообще, что происходит сейчас с нами? Небо у нас над головами или кровля съемочного павильона? Вы ослеплены искусственным светом. Если кричат птицы, то где они? И ваш ли это смех?..

Длинная жгучая тень снова пересекает экран.

— Да больно же! Откуда дотягивается этот бич? Кто это делает? Мне в самом деле больно! — кричу я в хохочущие спины. — Если вам надо было убедиться, живой ли я — не сомневайтесь.

Мне больно по-настоящему. Мы все живые, непоправимо живые, поймите же наконец... Да сколько же можно? Хватит!..

В воздухе вдруг задергались, как насекомые, черные крапинки; полосы и зигзаги продернули тела и предметы, как бывает, когда пошел поцарапанный конец пленки — потом все оборвалось. Сквозь сплошное белое сияние можно различить лишь волнистую неровность плохого экрана.

— Сейчас перемотаем обратно, — обещает сверху усиленный голос.

ПОНИМАНИЕ

Наконец-то, наконец ты встретил человека, способного тебя понять. И даже больше чем понять — его суждения, вкусы, оценки почти совпадают с твоими, и даже порой не «почти». Совпадение без остатка — право же, удивительно! Даже слова он употребляет те самые, единственные, точные. С ним нет надобности договаривать до конца фразу: он с полуслова догадывается, что ты хочешь сказать, и заканчивает вместо тебя, и вы оба смеетесь радостно. Он, может, единственный знает тебе цену. Он на твоей стороне, когда другие с тобой не согласны. «Ты прав, — говорит он. — Как они этого не понимают? Я думал буквально то же». Просто чудо, честное слово! Даже устройство его тела не раздражает тебя, как это бывает с другими — ты в этом смысле чувствителен. Он не слишком волосат, его пальцы не слишком длинные, не слишком короткие, с правильными приятными ногтями, такими же, как у тебя, и такими же лунками на них. У других многое бывает так неприятно! Можно только радоваться, что ты, наконец, встретил такого.

Одна беда: иногда возникает чувство, что ему с тобой все более скучно. Начнет что-нибудь говорить, развивая твою же мысль — и вдруг смолкает, смотрит мимо тебя.

— Что зря обсуждать? Все и так ясно, — сказал он однажды — и усмехнулся. — Не совсем лишь понятно, зачем ты нужен. Достаточно одного меня.

ДУХ ПУШКИНА

Уже ощущая в семье напряженность, Инна Петровна вовсе не спешила становиться на сторону дочери. Зять Игорь казался ей в каком-то смысле существом более уязвимым и беззащитным, несмотря на мужественную внешность. Этаким рослый, спортивно сложенный брюнет. Хотя и в очках. Но не в очках дело. Когда тридцать лет проработаешь гинекологом, баб поневоле воспринимаешь трезвей, если не сказать: циничней. Впрочем, циничной не ей было себя считать. Раньше пятнадцатилетняя девочка ложилась на аборт, так на нее приходили посмотреть и персонал, и из других палат. А теперь — ну, что рассказывать! Женщины, при всех своих сентиментальных сюсюканьях, всегда больше мужчин знали о делах телесных. А нынешние — так вообще, наверное, с детского сада.

Как-то в газете Инна Петровна прочла интервью знаменитой кинозвезды. Красотка объясняла, что ей нужен ежедневный оргазм, это полезно для кожи. То есть мужчины — это приспособления для удовольствия и для косметических целей. (И, соответственно, наоборот). С возрастом не совсем отчетливо помнишь себя прежнюю, но даже при своем медицинском профиле думать так Инна Петровна все-таки не умела.

Среди множества ее давнишних ухажеров был один коллегатоологоанатом, считавший нужным разоблачать перед дамой подоплеку всяческих сантиментов. «„Ее глаза, как два тумана“, ах! Знаешь эти стихи? А я могу тебе для наглядности показать эти туманы: два слизистых белесых шара со сплетением кровяных жил на одной стороне и темным кружком на другом. „О веки, преддверие влажного счастья!“ Это о простых кожистых пленках, которые натягиваются на глазные шары, чтобы прикрывать их и смачивать». Он мог так со смаком перебирать все органы, жившие своей скрытой, но вполне описуемой жизнью. Мешки, трубки, пленки из соединительной, мышечной, слизистой ткани, они выделяют соки, реагируют на поступление веществ и внешние раздражители. «Вот, посмотри, — все больше входил он во вкус философствования, — кто это сейчас прогуливается мимо нас по улице? Если не просто взглянуть, а, как я говорю, в суть вникнуть? Яйцеклетки, ты же не станешь отрицать. Ну, конечно, соблазнительно упакованные, оформленные, благоухающие. В них, в этих самых клеточках, и заключена основа, программа

биологического продолжения жизни, а сколько вокруг наворочено! И вперемешку с ними — вон, естественно, семенники. Тоже оснащенные ногами и прочими причиндалами. Оформленные, можно сказать, в виде произведений. Хотя, допустим, и не такие эффектные. Скорей, я бы сказал, невзрачные. Волосатые, мятые, прыщеватые. А ноздри-то, ноздри у тех и других — я имею в виду, у носителей — подрагивают. Они ведь ищут друг друга, сближаются, подбираются. И попутно происходит, смешно сказать, все, что называется человеческой жизнью. Со всеми этими страстями, историей, поэзией. Можешь себе представить?»...

Не то чтобы Инна Петровна внутренне такому взгляду сопротивлялась, нет. Она сама умела мыслить натурально и могла бы кое-то выразить в том же духе. Но в чужом исполнении это как-то не вызывало у нее восторга. Хотя она готова была отдать должное неординарному резкому уму. И специалист он, говорят, был первоклассный. А, может, просто не очень вдохновляли ее поцелуи с бородатым медиком. Пока пробьешься к губам сквозь раздражающую жесткую волосню, к тому же густо пропахшую резким табаком, а потом еще какой-то волосок почувствуешь прилипшим на языке, приходится его снимать пальцами... Нет, да и не в этом было дело. Просто ничего у нее с ним не получилось. Как не получилось по разным причинам со всеми другими, в том числе безбородыми, так что жить она осталась одна со своей Любой, но речь в конце концов не об этом.

Речь о том, что зять Игорь казался ей иногда каким-то не вполне, что ли, реалистом — по нынешним временам. Хотя и был он уже доктор наук, вообще взлететь сумел, как положено. Даже трогательно, как удалось ему сохранить юношеское качество чувств в своей сибирской провинции, где-то под Омском. Просто, наверно, пересидел незатронутым самые ломкие годы в лесном интернате для особо одаренных физико-математиков. Однако при этом вымахал в полный рост, имел разряд по волейболу, главное же, проявил, должно быть, действительно незаурядный талант в своей области — раз его в виде исключения пригласили на должность в престижный московский институт. И жильем при этом обеспечили, для начала, правда, в холостяцком общежитии, но квартиру обещали в перспективе вполне реальной, хотя и не самой близкой. Тогда наука была еще в почете и возможностями обладала. Не получил он квартиру только потому, что уже поселился у Любы. То есть у Инны Петровны.

Жилплощади у них, слава Богу, хватало с запасом. Старинная профессорская квартира, просторной планировки, молодежи не обязательно было искать обособления в другом месте. Хотя Инна Петровна тогда еще подумала, что в каком-то смысле зять, пожалуй, поторопился. Не в смысле женитьбы, разумеется, а в смысле официальной прописки. Мог бы получить для себя и дополнительную жилплощадь, оставалось совсем немного подсуетиться. Современная женщина бы не отступилась, а ему, видимо, просто в голову не пришло.

Инна Петровна не стала бы утверждать, что семейная напряженность оказалась прямо связана с новой работой Любы. Девочка по знакомству сумела устроиться редактором на телевидении, в передаче, которая называлась «Пятое измерение». Туда приходили демонстрировать свои манипуляции и теории всякие колдуны, астрологи, предсказатели и вообще экстрасенсы. Всерьез слушать глубокоумные их философствования, смотреть на красивые пассы руками, на демонстрацию планетных схем и древних магических знаков, на массивные амулеты и даже полновесные цепи, украшавшие шею вместо бус, Игорь во всяком случае не мог, и обе женщины, вполне соглашаясь с ним, готовы были переключить телевизор уже после нескольких минут подобного зрелища. Но если он просто уходил к себе в комнату, поскольку сидеть у телевизора вообще не любил, они иногда смотрели «Пятое измерение», отчасти посмеиваясь. Хотя и не без интереса.

Сама-то Люба ведь к передаче имела отношение лишь служебное. При своем филологическом образовании она выполняла в редакции разную организационную работу, утрясала расписания, встречи, созванивалась, договаривалась. Ужасней всего ее допекали звонки заинтересованных или недовольных зрителей. Один неумный псих, скажем, требовал непременно управы на экстрасенса, который с телеэкрана заряжал энергией своих рук воду, и этому зрителю так ее зарядил, что от воды у него разорвался мочевой пузырь. Можешь себе такое представить? — со смехом апеллировала Люба к медицинскому авторитету своей мамы, одновременно демонстрируя и мужу юмористическую отстраненность от собственных занятий.

Хотя, если говорить честно, медицинское образование не совсем исключало известной двусмысленности в отношении к подобным вещам. У Инны Петровны как-то случилась в жизни тягостная полоса. На работе пошла неприятность за неприятно-

стью: конфликт с заводделением, жалоба от склочной пациентки, вдобавок лопнула отопительная труба. И ко всему еще Инна Петровна поскользнулась на гололеде, болезненно повредила руку. Хотя обошлось, слава Богу, без перелома. На работу все равно требовалось ходить. Ей было невдомек, что Люба рассказала о маминих злоключениях какому-то целителю восточной школы, как раз просившемуся к ним в передачу. И тот заочно, по одним лишь календарным данным, определил, что Инна Петровна выпала, как он выразился, из космического цикла. Существовали, оказывается, простые способы вправить отдельную жизнь в подобающую колею. Люба сочла нужным передать маме его рекомендации. Как всегда, разумеется, не без юмора, но они ведь были не обременительны, в любом случае безвредны — отчего было не попробовать? Следовало, например, повторять по утрам несколько дыхательных и в то же время мыслительных упражнений, на месяц исключить из диеты молоко и — совсем уж смешно — отказаться в одежде от зеленого цвета. Чего это Инне Петровне стоило? Тем более, что молока она и так не пила, а отказаться от зеленой кофточки было не такой уж большой жертвой.

Сколько угодно можно было потом самой себе повторять: смешно тут что-то связывать с дальнейшим. Рука зажила бы и так, трубы рано или поздно бы все равно починили. Но, между прочим, не только склочница утихомирилась вдруг будто бы сама собой, без видимых причин — заводделением перевели почему-то на другую работу и на ее место рекомендовали Инну Петровну. Правильней было говорить, конечно, о реальных причинах, находить любые объяснения, наконец, совпадения. Это ведь как с приметам: не может же с тобой ничего на самом деле случиться лишь оттого, что дорогу тебе перебежала черная кошка. Но в глубине души едва ли не у любого из нас оседает все-таки: мало ли что? Мы ведь действительно не знаем всего в мироздании, мы не можем осознанно воспринимать своими ограниченными чувствилищами каких-то потайных взаимосвязей, влияний, по-современному говоря, энергий. И даже если дело не в космических силах или, там, колеях — разве не знают те же медики лучше других, как могут влиять на болезнь и здоровье воздействия не одного только материального свойства?

Ну, если уж совсем начистоту — не многие ли из нас самому Богу молятся вроде бы на всякий случай, вроде бы не веря все-рвез? Но вдруг поможет, вдруг пронесет беду? Мало ли что?

Когда тяжело болела, скажем, Любочка — сама Инна Петровна должна была за собой такое признать. И ведь пронесло, и не один раз помогало, вот против чего не попрешь.

— Иные вещи, допустим, лучше воспринимать, как игру, — любил демонстрировать свою объективность Станислав Всеволодович, он же Стас Колобов, Любочкин начальник, то есть ведущий ее программы. — Совсем без примет было бы тоже скучновато, согласитесь. Если у вас украли кошелек в трамвае, у которого сумма цифр на номере составляла тринадцать — в следующий раз это число нельзя же для себя не отметить. То есть нельзя не доверять совсем своему опыту. А в какой степени вы этому верите или не верите — вопрос другой. Главное, жизнь расцветивается оттенками, так жить интересней.

Появление в доме этого Стаса, если оглянуться на развитие событий, наверно, и впрямь имело отношение к еще явно не обозначившейся в семье напряженности. Для Любочки сам такой визит был лестен, и не просто потому что в гости пришел непосредственный ее шеф. Он был, что ни говори, телевизионная знаменитость, человек вообще артистической элиты, его уже на улице узнавали. Слабость к таким знакомствам тоже можно было понять.

Одно время Любочка привадила к дому актера по фамилии Мячин. Не то чтобы он был особой знаменитостью, и внешнестью, допустим, не так уж пленял. Росточка совсем небольшого; штаны в обтяжку, да еще при кургузом пиджачке, делали немного забавной — особенно когда смотришь сзади — его вихляющую походку. Такая походка бывает у цирковых собак, когда на них надевают штаны. Но штаны были все же по самой артистической моде, клетчатые, и пиджачок яркий, канареечный. А ко всему, повадка у него была привлекательная, живая, разговоры занятные: всегда интересные истории и сплетни из театрального закулисья, небрежные, как бы вскользь, упоминания знаменитых имен — с намеком на собственную причастность. Он мимоходом поглощал к чаю шоколадные конфеты, которые сам приносил Любе в подарок, потом, взглянув на часы, извинялся: у нас опять допоздна репетиция. Все знали, что он репетирует роль не кого-нибудь, а самого Мармеладова в спектакле «Преступление и наказание». И режиссер был какой-то непростой. Недели три это длилось. Контрамарки на премьеру Мячин персонально обеспечил. Было в самом деле приятно сидеть на луч-

ших местах, как не простым людям, да еще бесплатно. Занавес открылся, Инна Петровна, Игорь и Люба с особым нетерпением стали ожидать появления Мячина. А действие все шло и шло без Мармеладова, только имя его возникало время от времени, но как многозначительно! Вдруг за сценой раздался истошный крик: «Мармеладова раздавили!» — и Мячина выволокли, наконец, на сцену. То есть в буквальном смысле выволокли, по полу. Не нашлось, видно, лишнего человека, чтоб хоть придержать за ноги. Инна Петровна даже ладонями щеки сжала от болезненного сочувствия. Так он и пролежал некоторое время на сцене: лицо в кровавой краске, простонал раз-другой невнятно. Потом его уволокли назад. На этом роль его кончилась. Люба едва одолевала спазм хохота, прижав кулачки к животу. Игорь прикосновением ее сдерживал. Он был зритель вообще более благодарный, спектакль ему, как ни странно, понравился, а Мячина он склонен был даже одобрить за самоотверженность.

Нет, Стас Колобов был Мячину, что говорить, не чета. Даже внешне. Хотя, если уж на то пошло, в нижней части тела Инна Петровна у них готова была найти что-то общее. То есть в сложении у Колобова была некоторая непропорциональность, верхняя часть тела казалась тяжелее и крупнее. Но, во-первых, эту непропорциональность почти скрывали умело подобранные, расширяющиеся у бедер брюки и фирменная, уже всенародно известная безрукавка вместо пиджака. А главное, на телеэкране-то и показывали одну лишь эту верхнюю часть, в сидячем положении, и выглядел он, что надо. Этакое моложавое, загорелое (разве что под легким гримом) лицо, при седой, короткой, ровно подчеркивающей лоб челочке — казалось, он даже с экрана источает аромат тонких мужских духов.

Когда они стояли рядом с Игорем, прямого сравнения, ясное дело, он не выдерживал. Хотя одной из слабостей Игоря была вообще его нелюбовь к парфюмерии. У Любы он вынужден был терпеть духи и косметику, без этого на работе она бы чувствовала себя просто не одетой. Но как-то грубовато пошутил, что предпочитает природный запах женщины. Таким нецивилизованным ноздрям, надо понять, дополнительных приманок не требовалось, и Люба ни в каком смысле не могла на него пожаловаться. При мелких расхождениях во вкусе, он ее такой устраивал.

Колобов же этот сам всячески демонстрировал, что напросился в гости отнюдь не из интереса к своей подчиненной, он дав-

но хотел познакомиться с доктором наук, о котором оказался слышан. И словно в подтверждение привел с собой сразу двух сотрудниц. Одну звали Белла, это была на вид простоватая толстушка, при своей комплекции затянувшая на себе платье таким неосмотрительным количеством тесемочек, что у нее в разных местах выпирали груди. Другая, Соня, явно выглядела поумней, хотя весь вечер молчала, покуривая. У нее было треугольное личико эльфа с красноватым кончиком носа; набухшие, как будто сонливые веки слегка прикрывали выпуклые глаза. Колобов сразу по-свойски предложил называть себя просто Стасом, получив взамен право и доктора наук называть просто Игорем. Ему интересно было получить для своей программы какие-то комментарии по электронной части.

— Я ведь сам ни в чем не специалист, — говорил он, откинувшись на спинку стула с рюмкой принесенного им же виски в руке. В интонации его был тот оттенок мягкой иронии к самому себе, который не мог не нравиться в его передачах: он держался раскованно и без нажима, помогая высказаться другим и как бы демонстрируя собственную непредвзятость, неосведомленность. Просто интересовался от имени многих, а диапазон этих интересов был широк. — Но мне ведь показывали эффекты, регистрируемые действительно объективными приборами. Сидит этот самый маг или экстрасенс, ничего не делает, только напрягает что-то внутри, может быть, в мозгу, бес его знает, не берусь комментировать — и стрелочки начинают вдруг дергаться, а на экране ровные волны дают вдруг необъяснимый всплеск. Это без всяких дураков, без жульничества, без передергиваний, я собственными глазами видел. И ваши же электронщики говорят, что достоверных утверждений или опровержений у них нет, тут нужно приспособить более тонкую аппаратуру, продумать другую методику. Упоминали, между прочим, и ваше имя: ваши работы, мол, в наиболее близкой области. А вы могли бы что-нибудь объяснить?

Игорь, однако, не демонстрировал никакой охоты к увлекательному разговору. Он лишь усмехался слабо, покачивая наклоненной головой и как бы потирая при этом лоб о пальцы.

— На дисплеях всегда какие-нибудь кривые дергаются... Особенно если кому-то хочется показать фокусы, — не удержался он все же от комментария.

— Кого вы имеете в виду? — оживился Колобов. — Этих самых экстрасенсов или, может, своих коллег?

— Я их не особенно знаю, — ответил Игорь уклончиво. Соня смотрела на него с молчаливым интересом, выпуская из губ дым. Но толстушка Белла все-таки вставила:

— Кибернетику тоже объявили когда-то лженаукой. И генетиков преследовали.

Игорь не то чтобы сильнее качнул головой, но точно попытался замаскировать скрытно занывшую зубную боль. Стас уловил эту реакцию и дипломатично постарался уйти от темы.

— Во всяком случае, мы не будем вводить цензуру, не правда ли?

— Боюсь, цензура начнется скорей для других, — хмыкнул Игорь не без угрюмства.

Люба переводила встревоженный взгляд с одного на другого, словно опасалась напряженности и даже ссоры. Она ожидала другого разговора и не понимала угрюмой мрачности мужа.

Между тем для такой мрачности у Игоря и без экстрасенсов было достаточно причин. Инна Петровна вполне могла представить себе положение в его институте — да разве только в одном институте? Известно было, как унизительно нищала наука. Сотрудникам переставали платить даже мизерную зарплату, сам Игорь занимался уже не столько научной работой, сколько выбиванием денег, попытками сохранить отдел, лабораторию. О закупке аппаратуры нечего было и говорить, но один за другим кто-то от него уже уходил — на другие хлеба, а то и вовсе куда-нибудь на Запад. Ребята ведь были все головастые, хотя в общении, может, и выглядели скучновато. Они приходили когда-то в гости, за столом, как положено, выпивали, анекдоты рассказывали, с женщинами любезничали, и Люба отдавала им, разумеется, должное — при их-то званиях! Но по-человечески была в них для нее не то чтобы какая-то суховатость, но недостаточность, что ли. Не умели они произвести такого впечатления, как тот же хотя бы Мячин.

К Игорю это, естественно, не относилось. Хотя он сам был в компании человек не многоречивый, но Люба в этом смысле вполне его компенсировала. Она шутя говорила, что с этим человеком совершенно невозможно поссориться — такой он был терпимый к любым женским взбрыкам, так умел мягко свести все к ерунде. Об умственных его достоинствах излишне ведь было и поминать. Люба не зря любила его демонстрировать знакомым — такой человек! Не говоря уже о том, что он в нее до сих пор был

влюблен совершенно по-юношески. Но вот теперь он пропадал неизвестно где допоздна, приходил совсем посеревший, от распросов отмахивался — видимо, не очень хотел рассказывать, с каких приработков приносил домой свои деньги.

Мужское его самолюбие наверняка было в немалой степени уязвлено тем, что деньги-то эти были мизерны рядом с Любочкиным заработком. Получалось, что теперь она (не считая матери) кормит семью, и очень даже неплохо. Посвящать его в подробности тоже было не обязательно, но Инна Петровна, в общем-то, могла сама догадаться, что помимо официальных поступлений перепадали ей и добавки полуофициальные. Ведь колдуны эти и астрологи в их передачу наверняка рвались, отталкивая друг друга локтями. Лучшей рекламы нельзя было вообразить. А реклама всегда стоила денег, и любые деньги окупались десятицей: после каждого появления на экране клиентура их разрасталась взрывообразно. В подоплеку денежных колдовских дел Люба сама вникать не собиралась, ей достаточно было сознавать, что она получает естественные премиальные наравне с другими.

Насчет полного равенства она сама перед собой, допустим, отчасти лукавила. Не всем ведь в редакции достался однажды в виде премии не много не мало японский видеомагнитофон фирмы «Сони». Эта игрушка впервые вызвала у Игоря откровенно неприязненную реакцию. И не просто, наверное, потому, что он к этой технике никакого влечения не испытывал. В пору, когда это был еще редкий предмет роскоши, Люба повела его как-то к знакомым посмотреть пикантный, как оказалось, фильм. То есть, насколько могла понять Инна Петровна, что-то из разряда более чем просто эротики. Вернувшись, Люба со смешком рассказывала о полном безразличии мужа к подобным картинкам. «Ну, показали бы они нам что-нибудь, до чего мы сами не додумались, — словно оправдываясь, разводил руками Игорь. — Не нужны же тебе наглядные пособия». И Люба довольно шурилась, как бы молчаливо признавая, что в возбуждающих средствах муж ее во всяком случае не нуждается.

Тут же неприязненная реакция вызвана была, пожалуй, скорей неявным подтекстом.

— Это за что дают такие подарки? — спросил Игорь, не позабывая о форме вопроса. Может, он сам не мог бы внятно обосновать, почему спросил именно так. И Люба тут же воспользовалась возможностью для отпора.

— Что ты имеешь в виду? — вскинула она уязвленный взгляд. — Я же говорю: премия.

— И всем, что ли, такие дают?

— Какая разница, всем или не всем? Это не мое дело! Тебе что-то не нравится? Скажи прямо. Я вовсе не мечтаю смотреть какие-нибудь фильмы. Могу, если хочешь, сразу вернуть эту игрушку. Скажу, что отказываюсь. Ты хочешь?

А на глазах у нее сами собой уже набухали слезы, и чем мог Игорь ей возразить? В воздействии женских слез на мужчину есть, право же, что-то необъяснимое. Интересно бы Инне Петровне послушать на сей счет своего когдатопного ухажера-патолого-анатома. Биологический смысл выделения этой солоноватой, а то и вполне пресной жидкости она бы сама могла объяснить — но проступал тут, может, еще какой-то дочеловеческий атавизм, сейчас не вполне понятный. Ведь трезвомыслящий умный мужик мог заранее знать этой жидкости цену: не более чем простейший, без специального усилия рефлекс, отчего на него просто не плюнуть? Однако будь ты каким уютно заглубелым, насмешливым, интеллектуальным, несентиментальным — эта секреция небольших желез действует на тебя помимо рассудка, что-то в твоих претензиях размягчает, подтачивает. Признавай себя побежденным и труби отход.

Видеомаг (как выразилась Инна Петровна) в семье, разумеется, остался, хотя кассет к нему так еще и не купили, и недосуд было их смотреть. Да не в нем самом было дело. Но как пристально ни присматривалась Инна Петровна к Колобову, ничего мало-мальски подозрительного ни в его речах, ни в поступках уловить не могла. Он держался, как на экране, умело, нейтрально, доброжелательно, ни на чем не настаивал и ничего не отрицал — что у него у самого было в мыслях, оставалось гадать.

В гости он наведался время спустя как бы опять ради беседы с Игорем; ни малейшего интереса к Любе, право же, нельзя было заметить. И с собой он на сей раз привел одну лишь Соню: она изображала как бы вполне достойную его пару. Теоретизировал же он с видимым удовольствием — откуда у него бралась всякая эрудиция? — и словно при этом поддразнивал доктора наук, словно вызывал его на ответ, заранее не боясь ни сарказма, ни отпора: он сам тут был ни при чем.

— Вы ведь знаете лучше меня, — говорил он, приняв за столом излюбленную позу с рюмкой крепкого напитка в руке и не

столько попивая его, сколько смачивая им губы, — вы знаете, что научно-технический переворот семнадцатого века связан был с предшествовавшей ему — как бы сказать? — не вполне наукой. У кого взял термин «монада» известный вам Лейбниц, один из столпов, между прочим, математического знания? У оккультистов, не станете же вы отрицать. И он, и сам Ньютон связаны были не только с рационализмом, но с иррационализмом тоже. Еще неизвестно, с чем больше.

— Причем тут Лейбниц, причем Ньютон! — устало отмахивался Игорь, еще не желая втягиваться в дискуссию. — Вы же имеете дело с другими клиентами.

— А вы хотите сказать, что среди них есть шарлатаны? — довольный, откидываясь на спинку стула Колобов. — Не знаю, не знаю. Они, может, не утвердили себя еще так капитально, неуязвимо для опровержений, как вы. Но я ни к чему не хочу относиться с предубеждением. В наше время ничего нельзя знать заранее и до конца. Теперешнюю эпоху, говорят, можно в некоторых отношениях назвать постмодернистской. То есть, имеется в виду не одно лишь искусство, смысл понятия вообще можно расширить. Потому что смешались иерархии, вот о чем речь, представления о системе незыблемых ценностей. Все возможно. Помните, один персонаж у классика пытался понять: если, говорит, Бога нет, значит, все дозволено? А сейчас, пожалуйста: и Бог, если хотите, есть, даже на выбор, и все дозволено.

— Вот это неплохо сказано, — с неожиданным интересом посмотрел на него Игорь. — Действительно в духе времени.

— Но ведь раньше и будущее, казалось, можно было спрогнозировать достоверно и однозначно. А сейчас? Вы знаете опять же лучше меня фантазии некоторых ваших коллег. Видения электронной, технологической, информационной цивилизации, право же, напоминающие некоторые литературные антиутопии. Нет ли у вас впечатления, что человечество на самом деле движется неуправляемо, неизвестно куда? Никакого разумного опровержения таким прогнозам я пока не слышал. Зато одной из самых рациональных начинает казаться версия — мы как раз намерены ее скоро обсуждать — о инопланетных пришельцах, которые однажды вмешались в жизнь человечества и, возможно, следят за нами, готовые вмешаться опять. То есть отвести, если понадобится, от нас катастрофу.

— Вот чего я не принимаю и не могу принять, — энергично встрепенулся вдруг Игорь. — Потому что сама эта мысль в корне

меняет всю систему ценностей, на которых строится наша жизнь. Если в любой момент кто-то может передвинуть нас, как фигуры на доске — тогда наши действия, решения, ум, смелость, выбор — все теряет значение. Любая религия все-таки оставляет место для свободы, для волевых решений, для ответственности. Для тайны, которой окружены пути нашей жизни и сроки нашей смерти. Но если кто-то следит за нами, как за муравейником — тогда все, что я делаю, теряет смысл, единственный, последний, непоправимый. Это делает меня другим существом, с другими понятиями... Вы заметили, — добавил он каким-то изменившимся тоном, — из обиходного словаря исчезли такие понятия, как «благородство», «честь». Это какой-то позапрошлый век... рококо...

— Я вот слушаю вас и думаю, — Колобов теперь смотрел на него, подперев рукой подбородок: — кто из нас рационалист?

— Да уж какой я рационалист! — усмехнулся без особой веселости Игорь. — Это вы все хотите объяснить энергетическими излучениями, планетными траекториями, вземными пришельцами.

— А вы хотите верить в чудо и тайну, — утвердительно произнес Колобов и посмотрел почему-то на Любу.

Оба засмеялись, как будто в этом пункте друг друга поняли.

— Выходит, что я сам глубоко старомоден, — покорно согласился Игорь...

Инна Петровна видела, как ее Люба переводит испытующий взгляд с одного на другого, точно пытается определить, на чьей же стороне превосходство в этом неявном споре. Она, конечно бы, предпочла, чтобы муж проявил больше напора и изобретательности в утверждении своих позиций. Дело для нее было не просто в том, чтобы гордиться его умом: надо было и в себе подтвердить какую-то правоту — если угодно, правоту важнейшего выбора. Молчаливая Сонечка, покуривая, озирала всех выпуклыми, из-под припухших дремотных век, глазами, словно знала обо всех больше, чем они сами.

— Я, между прочим, с вами вовсе не собираюсь спорить, — развеселившись, сказал Стас. — Речь лишь о том, что не стоит игнорировать многообразные проявления жизни. Тем более самые увлекательные. Взять то же чудо и тайну — то, что имеет отношение хотя бы к любви. Вы ведь тут меня поняли, не правда ли? Что здесь рационально, что иррационально? У нас в перспективе,

между прочим, еще и обсуждение этой темы. Всякие белые и черные маги будут говорить, конечно, о привораживании, заговорах, любовных напитках и всем таком прочем. Мне самому любопытно. Ведь по многим свидетельствам, эти средства действительно приносят результат. Вроде бы какие-то ритмы и энергии у разных людей приводятся в соответствие, создают резонанс. Но я в эти материи еще не вникал. Мне лично интересней другое. Колдовство ощущается вроде бы и в каких-то обычных коллизиях, простой психологией их не объяснишь. Вот, один так называемый колдун мне рассказывал...

Инна Петровна ощутила непонятное облегчение, когда он действительно свернул все-таки на тему своей экзотической передачи. Что-то не в словах, а в подтексте этих речей, может быть, в подрагивающей колобовской улыбке необъяснимо ее настораживало. Хотя ничего положительного опять же утверждать она не могла. Оставалось надеяться, что Игорь, во всяком случае, более чем убеждал Любочку, когда они оставались наедине. В смысле, то есть, ночью. Дневного времени для общения у них оказывалось все меньше. Что говорить, коротким ночным часам дано перевешивать самые долгие дневные. Инна Петровна никогда прямо не разговаривала с дочерью на такие темы, да опытной женщине о некоторых вещах и не обязательно спрашивать — достаточно было видеть по утрам умаченный блеск Любочкиных глаз.

И все же — скидывать со счетов дневную жизнь никак ведь было нельзя. Слишком большую ее часть они проводили врозь, и о чем-то мать могла лишь догадываться. Инну Петровну смутил в этом смысле непонятный визит Сони. Она пришла вроде бы по делу к Любе — хотя явно могла предположить, что дома ее не застанет. Как будто она скорей надеялась застать дома одного Игоря и не прочь была бы его дождаться — вежливое, для формы, приглашение угоститься чашечкой чая она приняла мгновенно. Сидела на кухне, обхватив чашку сразу обеими ладонями, точно в летний день хотела их обогреть. Кончики ее пальцев были красноватые. Разговора с ней у Инны Петровны не получалось, да та и не томилась молчанием, озиралась по сторонам с сонливым интересом. Увидела на столе потрепанную записную книжку, взяла и понюхала раз, другой. Не только кончик носа у нее был красноват, но и тонкие, как будто воспаленные ноздри. Инну Петровну удивило ее принюхивание.

— Это Игорь забыл, — пояснила она на всякий случай.

— Я поняла, — усмехнулась Соня, чем-то вроде удовлетворенная.

— А какими духами душится ваш начальник? — не думая о собственной логике, поинтересовалась Инна Петровна.

— Я ему рекомендовала швейцарские, «Галант», — с той же задержавшейся усмешкой ответила Соня.

— Вы? — переспросила Инна Петровна.

— У меня широкий круг забот. Не я одна, разумеется, им занимаюсь. Костюм, лицо, манера держаться — все обеспечивают специалисты. Не обрызгай его духами, у него бы запаха не было.

— В каком смысле? — насторожилась Инна Петровна. Ей почудилось в этих как бы насмешливых словах намек, в чем-то вроде бы даже приятный, с успокаивающим оттенком.

— Но вообще у меня другие обязанности, — уклонилась от пояснений редакторша. — Я подбираю для него литературу, цитаты. Мысли. На этом месте меня Люба вряд ли заменит. — Она коротко взглянула из-под выпуклых век на Инну Петровну, словно интересуясь, поняла ли она. Та, однако, не поняла. — Между прочим, на днях мне попалась любопытная история, не знаю, пригодится ли Стасу. Про животных, правда, но все равно. Есть такой знаменитый исследователь, он наблюдал за парой серых гусей. То есть обычная супружеская парочка. А на расстоянии, сбоку-припеку, обосновался еще один самец. Остался, видимо, без пары. Ничего особенного не делал, слишком приближаться не рисковал, потому что ему могло достаться от законного супруга. Но что-то между всеми тремя происходило, не вполне внешне выявленное. Иногда супругу надо было отлучаться вроде по каким-то своим делам, тогда этот третий приближался к самочке, но опять же ни до какой видимой взаимности не доходило. У этих птиц супружеские пары вообще устойчивые. И все же выглядело это какой-то терпеливой, демонстративной, молчаливой — в человеческом смысле — осадой. А время спустя по какой-то необъяснимой причине законный супруг вдруг улетел и уже не вернулся. То есть оставил свою гусыню сопернику. Без столкновений, без драк, без объяснений на доступном нам языке. Что между ними произошло? Между людьми тоже ведь бывает такой вот поединок бессловесных волей — не понять, почему один уступает, другой выигрывает. А к нам как раз ходит сейчас один

специалист по магии, у него целая концепция именно дочеловеческих сил...

Что-то Инне Петровне не понравилось в этом разговоре, она так и не смогла уверенно предположить, зачем приходила к ним эта Соня. (Хоть бы Софьей себя называла!) С какой стати взялась теоретизировать о любви эта на вид вялая, не такая уж привлекательная женщина, выпуклые глаза которой свидетельствовали о явных неладах со щитовидкой?

У Любы тоже была к ней определенная антипатия, хотя интеллектуальные достоинства она за своей сослуживицей признавала. Да и по редакционной должности Соня была над ней старшей.

— Я все-таки не могу относиться с доверием к некрасивой женщине, — сказала она как-то маме. — Не потому что дело во внешних чертах. Какой бы ни был рот или нос, но если есть что-то внутри, она не кажется некрасивой.

Наверное, Люба считала справедливым говорить так о других — особенно поглядывая в зеркало. Но Инна Петровна смотрела на женщин все-таки с большим сочувствием — при всей своей скептической трезвости и специфическом опыте. Она ведь волей-неволей ставила диагнозы даже попутчицам в метро и могла бы многое сказать о самой их жизни, нынешней и предстоящей. Не говоря о близких себе по возрасту, но и о молодых, на вид еще вроде ничего себе, а кто-то уже с сумками, с детьми, и вот уже поникшие, входящие в колею — надолго ли осталось им яркости и игры? Биологическая неизбежность, ход времени, увядание — не вдаваясь уже во все эти нынешние разговоры о не вполне равноценном месте в мужской цивилизации. По телевизору, и то смотришь иной раз какое-нибудь серьезное обсуждение, вроде бы выступают красавицы, умницы, и говорят более чем наравне с мужчинами, и вполне как будто уверенные в себе — а все-таки, все-таки...

Инна Петровна, кстати, была довольна, что сама Люба на телеэкране появляться не получала возможности. Ей лучше было обходиться без этого. И ведь так, со стороны, посмотришь: этакое воздушное, на ощупь мягкое существо — но ведь Инна Петровна знала, что на самом деле это пуховый танк. Так она ей сама однажды сказала. «Ты, — сказала, — пуховый танк». Если та чего-то на самом деле серьезно хотела, ее было не остановить, и власть ее над Игорем была вне сомнений.

Ясно было, например, до чего хотелось ей посмотреть новую дачу своего Стаса Колобова. Тот уже заранее пригласил всех сотрудников на близящееся новоселье. Нетрудно было представить молву об этом сказочном, должно быть, коттедже, который и поднимался именно со сказочной скоростью, как на дрожжах, если можно с дрожжами сравнить деньги, поступавшие все от тех же благодарных магов, черных и белых. Игорь — тот, разумеется, и слушать об этом не захотел, он отказался сразу и наотрез, но у Любы еще было в запасе время, чтобы подточить эту непреклонность. Решающую же дипломатическую роль сумел сыграть сам Колобов, тут опять надо было отдать ему должное. К Игорю он даже не подступал, но самолично явился для того, чтобы пригласить не Любу, а Инну Петровну. Как будто именно она до сих пор отказывалась, и надо было ее просительно убеждать.

— Мне особенно важно, чтобы вы окинули все опытным женским взглядом хозяйки, — говорил он. — Сам ведь я холостяк, дом не умею обставить, еще ничем даже не обзавелся...

А Инна Петровна тоже оказалась достойна своей роли, она оглядывалась вопросительно на Игоря, точно рассчитывая на его поддержку. Она — ладно — готова была поехать, если только мужчина им составит компанию. Да и он в конце концов почувствовал, что лучше было все-таки не отпускать Любу вдвоем с матерью — а она-то была и на это готова.

Колобов позаботился даже о машине, которая прихватила их попутно. Всех троих устроили на заднее сиденье, а с водителем рядом расселся словоохотливый толстячок, и он всю дорогу травил разные забавные байки. Например, про то, как он лично чуть было не съел дальнюю американскую родственницу, двоюродную бабушку своей жены. Эта родственница, обнаружившись вдруг, несколько лет баловала их гуманитарными посылками. А время назад, после затянувшегося перерыва, они получили какую-то пластиковую банку без этикетки. В банке оказался порошок непонятного назначения: то ли сода, то ли какой-то еще американский продукт. Сопроводительная инструкция была на английском языке, а поскольку никто в семье насчет языка не был силен, они попытались определить назначение и вкус продукта пробным путем: брали на смоченный слюной палец, лизали, обнюхивали. Вкус, как и запах, оказался неопределенным, в воде порошок не разводился. Нашли, наконец, человека, который су-

мел перевести им инструкцию. Это оказалось письмо, сопровождавшее прах внезапно скончавшейся бабушки. Она хотела, чтоб порция ее праха была погребена в земле ее исторической родины. Хотя после этих проб для похорон осталось немного, — завярял веселый рассказчик. Люба с готовностью смеялась и поглядывала на все еще угрюмого мужа: неужели он хоть от таких историй не развеселится? Как будто он заранее не хотел настраиваться на веселье.

Дача, что и говорить, оправдывала все ожидания. Хотя никакой мебели здесь еще не было, и даже стульев хватало не на всех, но золотисто-медовое сияние деревянной обшивки в свете неярких ламп само по себе вызывало чувство благородной роскоши. Громадный деревянный стол был уставлен блюдами, бутылками, бутербродиками, рассчитанными на употребление, что называется, а ля фуршет — стулья были и не обязательны.

И публика была соответствующая. Многие лица казались Инне Петровне знакомыми по телеэкрану. И актер Мячин, вихляясь, подскочил поприветствовать новоприбывших. И обе редакционные дамы, конечно, тут были. Какая-то пара в экзотических одеждах разносила для угощения тминные и укропные лепешечки — они имели вроде бы отношение к неизвестному восточному ритуалу, но Инне Петровне понравились независимо от него. Особое ее внимание привлек невысокий человек с морщинистым и словно задубленным лицом, по которому трудно было что-либо сказать о его возрасте, (как нельзя сказать о возрасте сморщившегося на ветке плода), скорей о внутренней преждевременной болезни. Люба шепотом объяснила маме, что это настоящий шаман.

Она в этой обстановке очевидно блаженствовала. Ходила от одной беседующей группы к другой с широким бокалом в руке, который все время оказывался наполнен шампанским. Инна Петровна поначалу считала нужным держаться поближе к ней, но разговоры то там, то тут о политике, о модах скоро навели на нее скуку. Кто-то рассказывал анекдоты, груди перетянутой шнурками Беллы в разных местах колыхались от смеха. Солидного вида бородач разглагольствовал об эросе как проявлении некоего космического поля, безотносительно к личным симпатиям и тем более браку...

Довольно скоро Инна Петровна отстала от дочери, она сочла, что правильней будет опекать Игоря. Люба от выпитого, пожа-

луй, слишком развеселилась и своим возбуждением чуть ли не нарочно его поддразнивала. А он стоял у стенки, точно приклеился к ней, со стаканом неизвестного напитка в руке. Тоскливое лицо его никак не соответствовало обстановке.

Инна Петровна раздобыла для себя стул и уселась неподалеку от зятя. Она как раз захватила момент, когда Стас Колобов подвел к нему телевизионную знаменитость, того самого лысоватого целителя, который заряжал энергией своих рук воду, поставленную перед экраном. Хотя известностью Игорь, конечно, не мог с ним равняться, тот начал разговор с преувеличенных расшаркиваний: как, мол, он рад возможности познакомиться с таким видным ученым. Постепенно до Инны Петровны дошла цель разговора: лысоватый выражал желание проверить некоторые свои эффекты на особой аппаратуре, которая разрабатывалась, по его сведениям, как раз у Игоря. Очевидность эффектов сама по себе ни у кого сомнений не вызывала, но именно в научном смысле важно было бы понять их объективную природу. Он вроде бы сам имел научное образование и предлагал личное сотрудничество. Игорь отвечал вежливо, но однозначно. Это была просто не его тематика, и он не мог отвлечь непрофильной работой ни людей, ни аппаратуру, тем более привлекать в штат посторонних. Тут мягко вступил Стас Колобов. Ведь насколько он был осведомлен, аппаратура у Игоря как раз простаивала по независящим от него причинам, исследования давно не получали финансовой поддержки — а тут как раз был случай, когда представлялась возможность получить средства, право же, не лишние в нынешней ситуации. Объявился источник финансирования, и деньги можно было заполучить более чем приличные...

Не Инне Петровне, разумеется, было судить, насколько оправдан был отказ Игоря. Принципиальность иной раз выглядит чистоплюйством. А, может, тут существовали еще какие-то другие, неизвестные ей соображения? Он только мотал опущенной головой: нет. Стас еще попробовал пояснить, что предполагаемых денег хватило бы и для поддержки тех самых профильных работ. Не говоря о поддержке сотрудников. И не было тут никакого покушения на независимость исследователя, от него отнюдь не требовалось (если он такое подозревает) чего-то вроде подтасовок — важен был именно его авторитет, его имя, если угодно, фирма... В конце-концов лысоватый развел руками, это означало: ну, как знаете, — и отошел, впрочем, вполне добродушный.

А Колобов даже остался стоять возле Игоря с доброжелательной своей улыбкой.

— Я понимаю вашу серьезность, — говорил он, по обыкновению не столько отпивая из своей рюмки, сколько обмакивая в жидкость губы. — И отдаю должное. Но, по-моему, вы недооцениваете ту же сторону жизни, о которой мы как-то уже беседовали. Помните? О том, как может увлечь в ней именно игровое начало. В самом же деле: какой-нибудь теннисист или футболист, всего лишь манипулирующие упругим шариком — не более того — получают в сезон сотни тысяч долларов. Которых никогда не будет иметь заслуженный работяга, поэт, философ. Или вот ученый, прикасающийся, может, к объективной сути мироздания. Во всяком случае, к чему-то умопостижимому. Но деньги-то готовы платить сами зрители, миллионы людей. И за билетами охотятся. И говорят об этом, пишут, читают. И умирают возле своих телевизоров от разрыва сердца — всего лишь потому, что мячик попал в какую-нибудь не ту сетку. А есть еще играющие в карты, в шахматы, в бильярд — и вокруг этого тоже строят свою жизнь, об этом думают, на этом зарабатывают. А другие, сугубо серьезные люди брезгливо говорят: за что? На какие средства строятся такие вот дачи, когда другие даже близкого не имеют? Хотя, казалось бы, создают более реальные предметы, произведения или, если угодно, ценности. Вроде теорий, например, о смысле жизни. Но ежели в этих теориях игнорируется тот самый игровой элемент... вы понимаете?.. переплетения совсем уже невидимых, неощутимых ниточек... вроде, может быть, музыкальных переливов, да?.. все теории оказываются вдруг неполными и бессильными...

Говорил он как бы не обращаясь к Игорю, как бы мимо, глядя больше прямо перед собой — но, обмакнув очередной раз в рюмку губы, очень коротко на него все же посматривал.

— Или, допустим, взять ту же упомянутую любовь. В ней ведь то же самое. Тончайшие сигналы, намеки, движения, целый прямо-таки театр балета, ритуалов, словес. Ведь это особо разработанное искусство, которое лично ни вы, ни я, думаю, не захотели бы сводить к физиологическим первоосновам. Искусство тут, может, даже важнее конечного результата. Во всяком случае, интересней. Результат действительно означает конец, то есть скуку, необходимость начинать заново. А что может быть интересней, скажем, интриги соперничества? Почему кому-то достается побе-

да, а кому-то приходится уйти? Вы знаете ответ? Вот даже, оказывается, у птиц, у простых серых гусей описаны замечательные сюжеты...

Инна Петровна тут невольно вздрогнула — и Колобов словно сам ощутил что-то; про гусей он продолжать не стал.

— Эти вот колдуны и маги делают вид, будто знают ответы, с разной своей техникой и химией впридачу. Ну, это, допустим, их дела... пускай себе, — непонятно чему усмехнулся он — и вдруг одним глотком действительно опустошил, наконец, свою рюмку...

Инна Петровна вполне могла бы понять, почему ее зятю не хотелось оставаться здесь на ночь. Но глупо было в самом деле рваться отсюда на электричку. Тем более, что вечер был субботний, вполне можно было досидеть до утра, а при желании нашлась бы возможность и поспать, пусть даже без комфорта. На машине спяну никто ехать не собирался, а до станции было идти по темному проселку часа полтора. Не говоря о том, что в электричке, по нынешним временам, можно было напороться на что угодно. Люба отказалась категорически, но он все-таки не выдержал. Может, оставить жену одну он бы еще не рискнул, но с тещей — все же оставил.

Слава Богу, доехал в тот раз он благополучно. Однако Люба после его отъезда утратила всякую оживленность. Похоже, она всю ночь почти и не спала, должно быть, перебирала слова для утреннего разговора с мужем. И, судя по покрасневшим глазам, отплакалась про себя — для разговора у нее уже не осталось слез. Это была не просто обида, которую можно было разрядить в истерике, слова за ночь набухли серьезностью.

Инна Петровна слышала на другое утро через стенку, как она говорила с ним. Это не было выяснением отношений. Отдельных слов Инна Петровна не различала, но по самому тону можно было понять: Люба ничего не оспаривала, не утверждала, просто излагала созревшую, выстраданную убежденность. Таким тоном женщина говорит, что дальше так жить просто уже невозможно, ей уже физически трудно выносить непонятное отношение, и если он не может ничего изменить — пусть принимает, наконец, решение, как мужчина. Говорила все время только она, он даже не возражал ни слова. Он молчал, то ли просто потому, что ему нечего было сказать, то ли из привычной, природной молчаливости, усугубленной еще обстоятельствами. Но это молчание

действовало сильнее, чем любые слова, которые он мог бы найти. Голос Любы все больше терял уверенность. Как будто она сама по ходу своих неопровержимых слов начинала в них сомневаться, они как бы размягчались, растворялись, обесмысленные, в этом молчании. Он просто позволял ей переубедить саму себя. На время, по крайней мере.

В то утро случай, казалось бы, даже чуть ли не помог Инне Петровне слегка разрядить атмосферу. Она по приезде обнаружила в почтовом ящике письмо без обратного адреса. Это было одно из глупых посланий, давно всем знакомых: когда какой-нибудь доброхот, сам попавшийся на приманку, предлагал разослать в двадцать адресов по художественной, скажем, открытке или, еще лучше, по трешке, сопроводив предложение простым арифметическим подсчетом, как всего через несколько кругов отосланный дар вернется в виде тысячи художественных открыток или десятков тысяч рублей. Иногда в конверте даже бывала такая открытка (денег все-таки ни разу не попадалось), сопровождавшаяся предсказанием всяческих бед, если дальнейший обмен будет сорван. Это же письмо, во-первых, размножено было на современном ксероксе, во-вторых, оказалось до смешного бескорыстным — Инна Петровна за чаем решила позабавить домашних чтением вслух. «Сделайте двадцать копий и перешлите тем, кому вы желаете счастья, — призывал неведомый отправитель. — Это не шарлатанство. Это нити между вашим настоящим и будущим». Дальше были начертаны разные магические знаки с цифрами, которые уже много веков приносили получателям счастье. «Вы даже не поверите: счастье из параллельного мира». Забавнее всего были исторические примеры, приводившиеся в подтверждение. Сам, оказывается, Данте получил однажды это письмо, поручил секретарю отправить положенные двадцать копий и всего через несколько дней выиграл сто тысяч. Еще одно письмо получила сто лет назад бедная крестьянка Урукова, через четыре дня она откопала клад, потом вышла замуж за князя Голицына и наконец стала миллионершей в Америке. А вот Конан Дойл письмо, как предписывалось, не размножил, из-за чего попал в катастрофу, ему ампутировали обе руки. Так же поплатились за свое пренебрежение знаками маршал Тухачевский, которого расстреляли, Никита Хрущев, которого свергли. Зато знаменитой Алле Пугачевой за ее веру привалило аж два миллиона долларов...

Ожидавшегося веселья это чтение вслух, однако, не вызвало. Оба мрачных супруга лишь слегка покривили рты, изображая усмешку. И все же настроение, казалось Инне Петровне, отчасти удалось бы переключить — если б не разразилась совсем уже глупость.

— Ну, что с ним делать? — спросила она, складывая листок.

— Порвать и выбросить, что еще? — пожал плечами зять.

Но Люба тут попросила дать письмо ей, она хотела позабавить им сослуживцев.

— Наверное, его пол Москвы уже получили, — хмыкнул Игорь. — Или все-таки не хочется совсем без надобности искать неведомые силы?

Ах, зачем он ее так подколот? — подумала Инна Петровна, по себе, между прочим, чувствуя, что в таком подкалывании можно было признать оттенок правоты. Прежде у него, однако, хватало юмора от подобных уколов удерживаться. Люба вспыхнула:

— Ты меня все-таки дурочкой считаешь? На, порви.

— Ну да. А ты в душе потом будешь считать меня виноватым за любую дальнейшую неприятность.

— Какое-то безумие, — замотала головой Люба. — Какое-то безумие.

И демонстративно, прямо перед его лицом, порвала глупую чушь...

Господи, во всем дальнейшем вообще можно было увидеть не более чем случайность, набор совпадений. Но что-то словно накапливалось в окружающем воздухе — или, может, в самом их естестве, где что-то менялось. Проще простого было, скажем, найти реальное объяснение даже для температуры, внезапно подскочившей у Любы после пустячного спиритического сеанса. Но ведь с этого сеанса она пришла действительно полубольная, буквально шатаясь. Мать заставила ее померить температуру, у нее оказалось 38,6. Только рассказывать она не хотела ни за что — потому что дома был Игорь.

— Я сама перед собой буду выглядеть идиоткой, он уже намекал. Не хочу. Как будто я вообще необразованная и готова верить любой бредятине. Но я ведь свое состояние не сочинила, ты же видишь. Я не только при этом была, я в этом участвовала...

Вообще-то Инна Петровна и без рассказов знала, что такое домашние спиритические сеансы. В молодости сама раз-другой

в них участвовала и могла бы подтвердить: впечатление иногда производит. Даже само это сидение вокруг стола, захватывающая вибрация, будто исходящая из пространства и передающаяся не только тарелочке, но и самим участникам, само это состояние (хотя чья-то рука под столом, глядишь, тянется погладить тебе колено). А рассказывались и вовсе необычайные случаи... но что объяснять...

Надо отдать Игорю должное, он сам успокаивающими словами и поцелуями убедил Любу все-таки разговориться, чтобы дать выход нервности, избавиться от трясучки и температуры. Он ведь не хуже других знал, как иные переживания передаются телу — вот же перед ним было свидетельство. И Люба рассказывать начала, как бы предупреждая его насмешки, сама заранее над собой издеваясь, хотя он слушал тихо, с молчаливой грустью в глазах.

Тут ведь в самом деле была обыкновенная история: когда участники заранее ни во что не верят. Тем более, почти все там были с высшим образованием. Некоторые даже с двумя. Усмешечка эта всегдашняя прямо витала в воздухе: знаем мы эти штучки, эти спиритические забавы. Но хотя бы для личного впечатления можно и позабавиться; надо же, в самом деле, хоть один раз попробовать, чтобы потом говорить. Впрочем, два-три человека уже обладали опытом, один из них даже считался особо чувствительным медиумом. Но ведь другие, без опыта, не знали бы, как устроить сеанс по всем правилам. Хотя подробности опять же были общеизвестны: задернутые шторы, впечатляющий полумрак, вполне пригодный круглый стол, тарелка, буквы по кругу. И когда ведущий спросил, кого вызывать, именно Люба из чистого озорства откликнулась: «Пушкина!» А кого же еще? Это у нас с детских лет, как присловье. Пушкин, что ли, за вас делает?

— Нет, я не собираюсь себя ни приукрашивать, ни дурочкой изображать, — усмехалась Люба, обхватив чайную чашку сразу двумя ладонями, как Соня, — но совсем без попутной мысли, естественно, тоже не обошлось: а что, если в самом деле? Интересно было бы. Я уже задумала вопрос, есть ли у него стихи, которых никто не знает? И представить, что он вдруг выдаст строчку. И окажется что-то действительно гениальное. «Как гений чистой красоты», то есть несомненно в пушкинском роде. Ну, несе-

рвезная мысль, нечего говорить, можете заранее смеяться, пожалуйста. Ха, ха...

Нетрудно вообразить, что и другие там вполне настроены были смеяться. Особенно когда сразу пошла откровенная белиберда, невнятица. Первая буква выпала не совсем определенно, между «е» и «ж», но все-таки ближе к «ж», так и решили считать. Однако потом пошли подряд еще три согласных: «б», «т», «в». То есть явно не складывалось ничего удобочитаемого и сложиться никак не могло...

— Ну, думайте что угодно, — сказала опять Люба, — но при всей этой невнятице что-то с нами уже происходило. Необъяснимое. Какая-то, понимаете, внутренняя дрожь. Если б я что-то имела в виду сознательное, можно было бы подумать о подтасовке. Но мы же совместно вертели эту тарелку, не сговариваясь. И никто ничего еще не понимал, то есть не хотел сознательно. Как раз неразбериха, невнятица показывает, что было во всяком случае не жульничество. Все происходило как раз помимо нашей воли...

То есть прояснение скоро последовало само собой. Следующая буква выпала, наконец, гласная, «о», и только тут кто-то заподозрил общую неточность.

— Ты понимаешь? — Люба смотрела не на Игоря, а на маму. словно другую реакцию знала заранее. — Мы просто позабыли между «е» и «ж» вписать, как положено, букву «е». Ее ведь теперь обычно во всех алфавитах опускают, и на клавиатурах ее нет. Только тут до нас и дошло.

— Что? — все-таки не сразу поняла Инна Петровна.

— Ты хочешь, чтоб я повторила тебе по буквам? А до тебя самой не дошло? Он просто нас выматерил. Представь себе! Прямо, ясно, без единой ошибки. Хотя никто из нас этого не ожидал, то есть не думал об этом отчетливо, повторяю еще раз. Можешь мне поверить. Но на меня именно это подействовало! Не знаю, в курсе ли были другие, а нам-то на факультете, на одном спецсеминаре, как раз об этом упоминали. То есть, что он это именно умел, это было вполне в его духе. Что знали и что думали другие — не могу сказать, и дело уже не в объяснениях. Но ты же видишь, на меня подействовало помимо рассудка. Как это можно подделать?...

Игорь все так же молча, тихо и грустно поглаживал ее руку. Он и впрямь хорошо на нее подействовал, Люба действительно

успокоилась, и можно было сказать, тут все опять обошлось. Тысячу, миллион раз: никаких связей не имело смысла даже выискивать — только все те же случайности, совпадения...

И все же: почему Инну Петровну прямо-таки защемило отчетливое — словно бы давно назревавшее — предчувствие, когда Игорь однажды не вернулся домой после полуночи? До утра они с Любой все-таки ждали, потом кинулись звонить, первым делом, конечно, в справочную института Склифософского — и сразу же услышали подтверждение: попал к ним такой вчера вечером, с черепно-мозговой травмой. Что-то с ним, стало быть, случилось на улице, подробностей в справочной не объясняли, но не оставляло именно это чувство: что-то произошло не само по себе, какие-то связи проявились, сгустились в окружавшем их мироздании — и обрушились неизбежным ударом.

Больше всего смутила Инну Петровну непонятная, непривычная оцепенелость Любы. Как будто она что-то замкнула в себе, чего-то не выговаривала. Только покусывала все время нижнюю губку, а покрасневшие глаза ее были сухи. Что у нее с ним еще случилось, так и оставшееся матери неизвестным? Или не с ним?.. От взгляда она отвернулась, на вопрос отвечала мотанием головы: нет, нет, ничего.

Насчет черепно-мозговой травмы по телефону, слава Богу, преувеличили. (Или, может, преувеличил собственный слух?) Было, попросту, мозговое сотрясение, причем средней тяжести. Навестить пациента в эти часы не полагалось, но Инна Петровна, конечно, сумела проникнуть к зятю, пользуясь прихваченным с собой медицинским одеянием. Любу она оставила внизу, да та по видимости не особенно и рвалась. Что-то непонятное все же в ней было. Или, может, боялась увидеть его в каком-то обезображенном виде?

Обезображен он, слава Богу, тоже не был, только в бинтах, конечно. Кожа лица среди них казалась потемневшей, как на иконе, отросшая черная щетина продернута была сединой, точно уголь пеплом. О случившемся он подробностей не рассказывал — да и что он мог рассказать? К нему уже приходили брать показания из милиции. Нападавшие были ему незнакомы, и выглядели они не бандитами, в своем роде скорее профессионалами. Подошли уже в сумерках, неподалеку от института, остановили, потеснили за угол. Чего они от него хотели, трудно было сказать, хотя действия свои сопровождали кой-какими словами.

В смысле: убирайся отсюда, жидовская морда, не то мы тебя в другой раз... ну, совсем уж конкретных слов повторять перед женщиной он, естественно, не стал.

— Но разве ты... на самом же деле нет? — сорвалось нечаянно у Инны Петровны. И она сама тотчас смутилась, уловив дрогнувшую среди бинтов усмешку зятя. То есть смутилась не в смысле подозрения на свой счет... что это вообще могло для нее значить?.. он же сам знал. Но так было бы хоть некоторое объяснение. Прицепились по ошибке к брюнету в очках, что еще требовалось? Ни бумажника, ничего у него не взяли, может, и до больничной койки доводить не хотели. Приложился, видимо, затылком о стену. Это в кино после такого встают, как ни в чем не бывало....

— Ничего, ничего, — постаралась успокоить его и саму себя Инна Петровна. — Обошлось, и то хорошо. Скоро уже поправишься. Все образуется.

— На работу я в любом случае уже не вернусь.

— Это еще почему? — не сразу уловила смысл Инна Петровна. — Голова, мне сказали, в достаточном порядке. И руки вон тоже.

— Я не об этом, — слабо усмехнулся Игорь.

Ей все же удалось из него кое-что выжать — но все ли? Оказывается, накануне его вызывал к себе сам директор института, чтобы обрадовать новостью. Возникла возможность получить неплохие деньги под неожиданный, и при этом непыльный заказ. Что-то связанное с исследованием нестандартных биофизических излучений, так это звучало для Инны Петровны. То есть разговор чуть ли не дословно повторял услышанное ею на даче: и про то, что деньги давали возможность возобновить заодно основные, надолго отложенные эксперименты, и что предполагалось зачислить в штат еще одного нового сотрудника. Нетрудно было даже догадаться, кто имелся в виду. Как нетрудно было себе дословно представить — будто и при этом разговоре сама присутствовала — опять же категорический ответ зятя, и вежливые увещевания директора, и заключительный намек, что вопрос, собственно, уже решен, заказное исследование будет производиться независимо от странных капризов подчиненного. Хорошо еще, если тот не произнес в ответ: «Только через мой труп»... о, Господи!... Что могли, в самом деле, значить слова Пушкина?.. И что Игорь еще

знал, чего не договаривал, какие совпадения сам про себя связывал?

— Что же ты решил делать? — тихо спросила Инна Петровна.

— Не знаю. Наверно, в самом деле уеду. Меня ведь давно звали, и в разные места.

«А Люба?» — чуть было не спросила Инна Петровна. Однако вопрос застрял у нее в горле. Она все явственней ощущала непонятное биение — словно бы пульса... Игорева или своего? Так иногда чувствуешь без прикосновения звучную работу собственного сердца во всем существе. Но нет, свое сердце и свой пульс она бы узнала. Тут был другой ритм и другая сила. Какое-то величественное биение извне сдавливало и отпускало все тело, точно старалось что-то изменить, сдвинуть внутри — или не только внутри? Чего добивалась эта пульсация неведомых, властных сил, куда она всех подталкивала, чего от них хотела?

ЗАНАВЕС

Солнце продвигаясь к закату
Тянет за собой занавес
С другого края неба
Пелену сгущающейся грозы.

КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ

Она сидела на скамейке в сквере напротив школы и дожидалась Славика... да, Славика, тут казалось все ясно, только в каком он теперь был виде, чего она хотела, на что в самом деле надеялась? В уме это выглядело так: мальчики рано или поздно должны будут выйти покурить, подышать воздухом после торжественной части, пока в актовом зале накрывают столы для банкета. Так ей казалось. Ей уже случалось такое видеть. Тут она как-нибудь к ним приблизится, чтобы он ее мог увидеть, просто пройдет мимо, как будто ненарочно (может же она случайно проходить в это время по скверу), даже окликать не станет, посмотрит сна-

чала, узнает ли он ее. Или, может: захочет ли узнать? Тем более при других. Мальчишки в этом возрасте такие стеснительные. Вопрос, узнает ли она его сама, совсем взрослого, Сима как-то задвигала подальше, в затемненное место мыслей. И не просто потому, что слишком опасалась ответа. Нужно было сперва что-то существенное понять, соединить в этих самых мыслях, где все толкалось вразброд — как возникавшие вдруг в памяти звуки случайных клавиш под мягкими детскими пальчиками: обещание будто бы осмысленной, уже знакомой мелодии... затуманенный взгляд глаз из-под изогнутых длинных ресниц, зеленая сопелька на грязной щеке мальчика, он протянул ей вчера в метро коробку из-под кукурузных хлопьев и так по-детски, проситель-но наклонил к плечу круглую мордашку. Словно открылась где-то вдруг пустота, соединенная через прокол с сердцем, готовая со свистом всосать в себя все внутри и снаружи, и воздух пошел опасной зыбью, все смешалось, поплыло, стало недостоверным... Может, для того она теперь здесь и сидела, чтобы в чем-то убедиться, восстановить внутри себя связный, необходимый смысл, соединить обрывки звуков, слов, имена и лица: Юра, Славик, Раиса... да, она тоже должна быть там, в актовом зале... хорошо хоть, ума хватило не заходить внутрь...

В тени становилось свежо, Сима надела кофту. Две скамеечных рейки справа были обломаны — как будто их тоже когда-то уже видела. Как будто здесь и сидела. На коленях книжка, раскрытая, как положено, для заполнения времени, но взгляд лишь соприкасается с поверхностью строк, не проникая. Она и про очки не вспомнила, без них обходилась. Закладка в книге была листком неизвестного календаря, странным образом за вчерашний день: 23 июня, но год остался где-то на другом листке или на утерянной обложке, а, может, вообще не был указан — для удобства, чтобы желающий мог сам вписать его на пустом безразличном пространстве, вместе с памятным событием, общим или личным. Чьим-нибудь, например, юбилеем или датой происшествия. Если только установить, конечно, что считать для себя действительным событием. Человек может, скажем, близко помнить какую-нибудь давнюю муху, жившую с ним в комнате. Именно эту, а не любую другую. С гранеными, черно-радужными глазками, с зазубринками на лапках. До сих пор, как живая, перед глазами. Потому что с ней связалось что-то внутри, да, что-то именно осталось, изменилось от ее кратковременного существования.

Хотя другим этого не объяснишь. Или встреча с Юрой, Славикиным отцом. Это ведь действительно было. Во всех подробностях. Сидела вот так же на скамейке с обломанным краем, среди еще свежей зелени, на коленях раскрытая книжка (как будто даже перед глазами внешний вид строк: проза, но в то же время стихи, они долго держались в памяти), но не читала, а смотрела, как у кустов напротив два красавца-селезня с переливчато-зелеными головками и сине-белыми нарядными перьями в подкрыльях суеются вокруг серой невзрачной утки. Оба по очереди пытались на нее взгромоздиться, но каждый раз другой начинал клевать соперника, мешать, спихивать; в результате ни у кого ничего не получалось. Утке при этом тоже доставалось, она сердито отбегала на три-четыре шага, селезни вперевалку, по деловой необходимости следовали за ней, и все повторялось сначала и не могло завершиться. Он тоже остановился рядом — посмотреть. «Как это у них скучно, а? — сказал, ухмыляясь. — Хоть подрались бы по-настоящему. Вот тетерева, я видал однажды, сходятся. Так это же красота! Это как танец!» Совсем еще молодой, румянец деревенский во всю щеку, воротник распахнут на загорелой шее. Подсел к ней, не спрашиваясь, стал рассказывать про тетеревов. Сима вообще не любила, когда так подсаживались, но что-то помешало ей сразу его отшить. Может быть, откровенность и насмешливая простота совершавшегося в природе. Так это совпало: запоздалая весна, свежие, еще клейкие запахи, и эти смешные утки, и сумятица собственных мыслей. Глаза у него были зеленоватые, наглые, но при этом простодушные в своей наглости — и уже сама собой разыгрывалась по своим законам та самая вечная игра, которой нельзя было пугаться. Она больше всего боялась, что именно испугается, может быть потому, что, слишком рано оставшись без родителей, должна была все решать сама. Рано или поздно это должно было произойти — она боялась какой-то собственной неспособности. Не к чувству, нет, она знала, что способна это чувствовать... может быть, совсем еще крохой в цинковой ванне, когда сладко ощущала свое тельце, глядя его скользким, теплым, ласковым мылом... ну, то есть, пусть это было другое, но все-таки... Или когда играли в комнате мячом и мальчики лазили за ним под кровать и выбирались оттуда задом, взъерошенные, смешные, в пыльном пуху, лишь к одному как будто ничего не приставало; все, что у других раздражало, у него оказывалось красиво, и не просто красиво, на него все время хотелось

смотреть, от его голоса вздрагивало внутри, а прикосновение было счастьем, от которого слабели коленки. Его звали Павлик, им было двенадцать лет. Теперь она в смятении прислушивалась к себе, пытаясь узнать, уловить хоть отголосок чего-то похожего — но должно ли было быть похоже? Откуда тебе вообще знать, как бывает на самом деле, пока ты еще этого не испытала? Так вот и не испытывай. (Посторонний, занудный, насмешливый голос возникал в воздухе или внутри ушей — но тогда она еще не придавала этому значения). Может, из-за этой боязни испугаться все произошло так быстро — слишком быстро. А она все продолжала прислушиваться: вот это и есть то самое, настоящее? это действительно произошло? действительно с тобой? И что же чувствовал этот человек с непонятным, тяжелым, чужим телом, когда стонал и покрывался потом, а глаза его темнели и становились глубокими? Она пыталась ощутить что-то за него, вместе с ним, сама тоже постанывала и, как могла, старалась показать, что ей тоже хорошо, а не просто больно и трудно дышать под его тяжестью. Он становился еще тяжелей, расслабляясь, но она все равно терпела. Она говорила себе: вот, теперь это у тебя есть, — как будто хотела сама себя убедить в чем-то.

Нет, его бессмысленно было винить, он не был плохим человеком, который просто позарился на ее жилплощадь и прописку в Москве. Прописаться она ему предложила сама. И она готова была утверждать, что он тоже не притворялся, она ему действительно нравилась, по крайней мере вначале. Ему нравилось, что она такая маленькая и легкая, нравилось вскинуть, как ребенка, под самый потолок и закружить на одной руке — аж замирало сердце; нравилось выглядеть рядом с ней большим и взрослым, хотя сам он был на три года младше. «Эх, Сима-Сима-Серафима, — приговаривал он, закруживая ее в высоту, — вырастай еще красивей!» И, задержав неподвижно в воздухе, сам себе возражал: «Не растешь. А для чего? Села баба на чело,» — добавлял он, не опуская, а как бы роняя ее внезапно наземь (и сердце падало внутри). Он любил добавлять не совсем осмысленные слова для рифмовки — точно она создавала или во всяком случае закругляла смысл. «Ну?» — спрашивал он неизвестно кого в пространстве. И сам себе тут же отвечал: «Баранки гну».

Если бы у них еще хоть получилось с детьми! Но тут уж ей винить было тем более некого. Она долго не понимала происхождения, даже когда первый раз случайно встретила его с этой Ра-

исой и он, засуетясь, стал знакомить ее с землячкой. Она не поняла его возбужденного, избыточного многословия, вороватого выражения зеленых его глаз, она ничего не понимала или не хотела понимать, даже когда ее стало подташнивать от чужого неясного запаха на его одежде и как будто на теле, а потом уже и в комнате, на их постельном белье, так что она просто не могла больше спать на этой кровати, сама стыдясь непонятных болезненных капризов своего обоняния — но ей в самом деле полегчало немного, когда он купил новенький раскладной диван, а кровать переставил к противоположной стене. Она не поняла, что это было уже началом раздела — без развода, еще до того, как он надумал ставить в комнате перегородку — а сам все поглядывал, ожидая хоть какого-то, наконец, возмущения, хоть чего-то, напоминающего нормальный скандал. Если бы она могла в самом деле закричать, то есть заорать, как положено! Она наблюдала за происходящим с ней самой в каком-то постороннем оцепенении — как однажды в детстве, когда, маленькая, стояла в реке у берега, держась за край плота, на котором мама стирала с другими женщинами. Плот был привязан к берегу цепями, и она, держась рукой, сама незаметно сдвигала его на глубину и невольно следовала за ним, все дальше, глубже, потому что не догадывалась или боялась отпустить, остановиться, где стояла; вода уже закрыла ей рот, потом нос, и кричать было теперь поздно, еще немного, и она захлебнулась бы, но тут какая-то женщина заметила ее беду и вздернула наверх, на плот, на воздух...

Между тем она все чаще заставала эту Раису у себя в доме, приходя вечером из своей библиотеки, и Юра больше не считал нужным даже придумывать очередное недостоверное вранье, ему не было надобности уже и выпивать для большей наглости — он просто приводил ее к себе за перегородку, как в отдельное жилье, наконец, оставил здесь ночевать. Сима точно окоченела от невыносимости стыда; ей казалось, что даже вещи вокруг мучаются этим стыдом, как искривляющей судорогой. Кровь стыда прилиwała к ее щекам так сильно, что не выдерживали мелкие сосудики, лопались лиловой сеточкой, а она словно бы глохла для обычных звуков, уши были заложены стеклянной сухой ватой, трескучие волоконца ее расправлялись внутри, шуршали голосами, напоминавшими тихое, но отчетливое радио, и эти голоса впрыскивали из ушей внутрь головы, как токсичную отраву, все, чего она не хотела и как будто не могла слышать во-

круг: шепоты, шорохи за фанерной издевательской перегородкой, и ерзанье, и чмокание, постыдные звуки, от которых уже невозможно было ничем отгородиться.

Когда время спустя выяснилось, что она просто больна, это оказалось облегчением — для обоих. Это объясняло все: ее поведение, и оцепенелость, и неспособность сопротивляться — и почему, наконец, он тоже не мог оставаться с ней, он вынужден был себя вести так, как вел. Болезнь была причиной и объяснением всего; она же оказалась и выходом. Вначале, правда, ее поместили в неподходящую, пропахшую выделениями человеческого распада палату, где женщины, все похожие на истощенных неприбранных старух, хотя были разного возраста и комплекции, сидели, не произнося ни слова, бродили между кроватей, точно не могли вспомнить, чего ищут, бормотали себе под нос или вдруг начинали кричать вовсе без смысла. Сима, слава Богу, к этой палате не подошла, у нее оказалось что-то с обычными сосудами. Не с теми, конечно, что полопались на щеках. У нее самой было странное ощущение, будто какой-то крохотный ничтожный узелок лопнул в середине мозга, ближе к затылку, дав о себе сперва знать очажком излучающей боли, но потом онемев до бесчувственности, так что именно через него не могли пробиться для соединения в памяти какие-то слова и мысли. Особенно трудно бывало вспомнить слова в разговоре с врачами; тут, может, еще первоначальный испуг добавлялся или стеснение. Своих самостоятельных медицинских догадок Сима выдавать им, конечно, не стала. Соображала она, в общем-то, вполне нормально и наловчилась подбирать обходные слова вместо запертых.

Вот чего действительно не удавалось восстановить, так это почему-то стихов, заученных еще в школе, даже песен, памятных, казалось бы, с детства. Мелодии при этом все остались, вот что странно, их можно было напевать про себя с чувством даже вроде бы брезжащего смысла: слова как будто присутствовали внутри музыки, в ритме, но неявно, смазано, лишь иногда прорезались поодиночке: та-та-та та-та Дунай... (Женщины, распевая, шли от реки, тазы, прижатые ребрами к бедрам — как будто на бедрах лежащие — колыхались в такт шагам, в такт песне: та-та-та та-та Дунай, белье пахло речной свежестью)... чего же еще не хватало? У нее тогда еще была надежда, что со временем музыка вообще поможет памяти лучше лекарств, ведь дома ее дожидалось еще и пианино. Играть на нем, правда, она по-настоящему не научи-

лась, но подбирать без нот кое-что умела. Только вот вернуться к нему — то есть в тот же дом — было совершенно невыносимо. Сима даже думать об этом боялась.

Она готова была оставаться сколько угодно в этом терпимом отделении, где летом выпускали даже гулять в маленький пыльный садик, там чирикали и суетились воробьи, искали что-то в сорной траве, выясняли неизвестные отношения, на них можно было смотреть долго-долго. Юра время от времени ее навещал, приносил, как положено, апельсины и сок, сыпал щедрей обычного прибаутками, заполнял время словами, чтобы не томиться молчанием — или для чего-то еще? Трудно было отделаться от чувства, что и он, как она, ищет способ вытеснить, заглушить постороннее механическое шебуршанье, бормотанье неживых волоконцев вокруг ушей или внутри головы — а может, не замечая, сам его как бы озвучивает. У нее была мысль попросить, чтобы он принес из дома какую-нибудь книжку стихов для воспоминания, но опять же удержал страх, что будет читать только слова, не узнавая того, чем они были прежде. Она ведь и на Юру смотрела с мучительным напряжением: действительно ли с этим человеком что-то было связано в ее жизни? — и не получала подтверждения.

Однажды он пришел, возбужденный больше обычного, принес целую папку бумаг, напечатанных на машинке, разграфленных и заранее заполненных, там надо было только поставить подпись. Речь шла об уже назначенном сносе дома, о необходимости срочно оформить развод и так же срочно оформить брак с Раей, чтобы тут же ее и прописать, в таком случае двум семьям должны были бы предоставить отдельные квартиры, причем Юре с Раей как минимум даже двухкомнатную, потому что она очень кстати забеременела, и он уже договорился с кем надо обо всем, что надо, а с кем надо, раздавил бутылочку-другую, это даже не так дорого стоило, ты не поверишь, такую возможность нельзя упустить, все в выигрыше, — похохатывал, возбужденный и довольный своими прохиндейскими способностями, но на нее поглядывал с заискивающей неуверенностью: от ее подписи теперь все зависело. Слабые фигуры людей в больничных одеяниях медленно проплывали по больничному садiku. Вялый умственный голос напоминал Симе об опасности подвоха — но такой он был ослабленный, такой безразличный, как будто речь шла не о ней: так было все равно. «Если б было все равно, люди б лазили

в окно», — с готовностью подхватил он подписанные листки. «А люди не бздели, прорубили двери»...

Нет, он и тут ее не обманул, он действительно сделал, как говорил, даже в какое-то учреждение, то есть суд, не только свозил ее из больницы, переодев в лучшее, из дома принесенное платье, но взял на себя все хлопоты, оформление и перевозку вещей. Без него бы она просто не справилась, могла бы, глядишь, и вовсе остаться ни с чем. Это лишь потом по-настоящему до нее дошло; каких только историй она не наслушалась! При тогдашней ее беспомощности легче легкого было ее обмануть. Из больницы она вернулась уже в новую отдельную квартиру на первом этаже чужого девятиэтажного дома. Все вещи и мебель, включая пианино, были уже на месте и, вероятно, в сохранности, проверять подробно у нее не было сил, она извлекала потом разные предметы из упаковочных коробок долго, без охоты, по надобности, а так обходилась. Какая-то у нее вдобавок появилась неприязнь к всегдашним вещам, даже к собственному белью; она, одеваясь по утрам, старалась как бы себя не видеть в этих зимних чулках с резинкой, лиловых рейтузах, спешила поскорей закрыться сама от себя платьем. Точно так же неприятен ей стал процесс еды — точно постороннее пристальное сознание против воли отмечало то, что должно было совершаться автоматически, без внимания, в потайной темноте кишок, желудка или мочевого пузыря. Наверно, это были тоже отвлечения болезни, с ними надо был справляться самой, не рассказывая никаким врачам, как не рассказывала она о тех же голосах, что до конца не утихомирились все-таки и в новой квартире.

Не могла же она в самом деле объяснить, почему, едва переселяясь, позвала электрика срезать все провода и розетки радиотрансляции. Со стороны это выглядело, должно быть, скарденностью: платить за радиоточку и надо-то было всего 50 копеек в месяц. Да и от голосов это, увы, мало избавило, она сама про себя понимала, что они вряд ли нуждались в особых приспособлениях — иной раз знакомые, как будто уже где-то слышанные или читанные: вперед и глубже, на штурм задания, значит, кашу не варить, а по городу ходить... Бормотанье на грани полуяви, полусна, без музыки, вперемешку с бессловесными шорохами, точно из-за стенки или с неизвестного этажа: скрип пружин, и тошнотворное чмокание, и ритмичное, однообразное содрогание воздуха, и отчетливые до каждого слова шепоты. «Давай вот так, по-

удобнее». — «Вот так хорошо». — «Хорошо, клопов не стало». — «Не, один выполз, когда я стелила». — «Может последний, на издыхании». — «Может». — «А если нет, опять вызывать придется». — «Гарантию обещали на полгода». — «Пусть тогда бесплатно доделывают». — «Постой, я лучше вот так». — «Дверь закрыть не забыла?» — «Не забыла. Вот так хорошо?» — «А вот так?» — «Мм-м». — «Тише, ребенок услышит». — «Он все равно еще не понимает». — «Я маленькая была, уже понимала... Уи-и». — «Постой, еще не спеши». — «М-м». — «О-о»... И ритмично, однообразно, пробиваясь к наслаждению или облегчению — ведь бывает наслаждением даже облегчение нужды...

Существовали ли эти голоса взаправду, помимо ушей, была ли тут нерассосавшаяся до конца болезнь или необъяснимо обостренная восприимчивость слуха? В таких вещах вообще ведь не всегда разберешься. Когда твою кожу то тут, то там начинают покусывать как бы мелкие насекомые — какая тебе разница, существуют ли эти мураши на самом деле? Ты хлопаешь себя по зудящему месту и чешешь его, не разбираясь, — результат одинаков. Если начнешь так вдумываться: еще вопрос, зачем нынешние молодые люди носили в ушах музыкальные затычки, а другие включали на полную громкость свои домашние устройства, чтоб говорили явственно о погоде, о битве за урожай или просто играли — заглушая, может, что-то другое? Они, может, сами не отдавали себе отчета.

Надежда Симы на пианино в этом смысле, увы, не оправдалась. Оно, похоже, совсем расстроилось от перевозки, звуки не совпадали с теми, что помнились внутри, и не просто скребли кожу: дрожь струн передавалась через пальцы всему телу, так что подступало к глазам... Настройка ей вряд ли была теперь по карману, а главное, вряд ли ей это бы помогло.

Если что стало облегчением жизни, так это восстановившаяся привычка бессознательного ежедневного существования. Вернуться на работу в прежнюю библиотеку она даже не попробовала, туда и ездить было далеко, и не взяли бы ее, наверное, теперь. Ее вполне устраивала простая работа в газетном киоске. Зарплаты вместе с инвалидной пенсией было даже больше прежнего. Встаешь каждое утро в половине шестого, незаметно для самой себя совершаешь одни и те же повторяющиеся действия, так что через десять минут после завтрака уже и не вспомнишь, что ела, идешь зимой затемно, когда во многих окрестных окнах еще не

зажигался свет, включаешь электрическую печурку для обогрева ног, принимаешь и пересчитываешь товар, а у окошка тем временем уже собирается очередь. Шофера, выезжавшие на работу с ближней автобазы, останавливали по пути свои фургоны, покупали для дневного чтения сразу по несколько газет. В половине пятого очередь побольше выстраивалась уже в ожидании «Вечерки». Почему-то многим не терпелось придти заранее, хотя газет хватало на всех: просто нравилось, видимо, постоять, посудачить, обсудить новости. В основном это были пенсионеры, а первым всегда оказывался местный дурачок Гриша, он покупал сразу десяток, чтобы потом перепродать опоздавшим с небольшой для себя прибылью; это был способ его заработка. Разговоры за окошком Сима слушала краем уха, не особенно их понимая, поскольку в больнице совсем уж отстала от имен и новостей, а телевизора и радио не имела. Даже газеты свои она лишь просматривала на первых страницах; заголовки слишком напоминали знакомые, смущавшие голоса: «Ускорим темпы», «Все глубже в недра»...

День за днем слипались в одно неразличимое вчерашнее время, как слипались друг с другом, происходя непрерывно, отдельные мелкие события. Из-за этой непрерывности их трудно было разделить потом в памяти. На Симу подействовал однажды разговор пожилой женщины в обычной очереди за «Вечеркой». Это была еще крепкая, уверенная в себе пенсионерка, из тех, что всегда бывают правы и все знают лучше других. Она с особой гордостью рассказывала, демонстрируя свои безжизненного цвета руки, что через них, через эти вот руки, прошли на заводе «Каучук» все поручни эскалаторов московского метро, с тридцатых еще годов. Она всю свою рабочую жизнь принимала у конвейера готовую продукцию и посыпала эти поручни тальком. Сима вдруг попробовала себе представить эту бесконечную толстую черную ленту, однообразно протекавшую через живые руки, через всю жизнь, день за днем — и какой же мерой надо было мерить эту жизнь, как было в ней различить сантиметры, метры или километры непрерывной полосы, пересыпанной тальком, чтоб не слипалась? Каким, то есть, тальком было пересыпать эти вот самые дни и часы однообразной жизни — все с той же, проходящей мимо сознания и памяти готовкой, стиркой, магазинами, процедурами в туалете и мытьем собственного тела? В памяти застревали скорей неприятности, нарушавшие этот нор-

мальный поток: водопроводная авария, приступ серьезной болезни, обворованная (впрочем, по соседству) квартира. Хотя тут была тоже, наверное, своя неправда. Неприятности ведь не могли быть существенней обычной жизни, вспомнить можно было не только их...

Еще вдруг Симе пришло на ум, что человеку лишь кажется, будто он живет непрерывно всю свою жизнь. На самом деле это оказывалось невозможно, как невозможно было, например, всю жизнь бодрствовать. Какая-то ее часть должна была уходить на сон, и это было вовсе не самым потеряннным временем. Сновидения, скажем, бывали ярче остальной жизни — если их, конечно, удавалось вспомнить. Но то, что не затрагивало сознания и памяти, словно в самом деле исчезало из действительности. Можно ли было в собственном теле ощутить течение времени? Только замечаешь вдруг, точно очнувшись, что зубов во рту стало меньше, кожа на лице обвисла, разношенная, ничто, томившее между ног, не доставляет больше ни хлопот, ни волнений — а еще недавно бодрая, казалось бы, пенсионерка успела, глядишь, превратиться в не сразу узнаваемую, слезливую, сторбленную старушку: вот она, уже не ходит по улице, а переступает, как переступают в очереди, надолго останавливаясь перед каждым следующим шагом. У приступочки же тротуара она вовсе замирала беспомощно, дожидаясь, пока случайный прохожий поможет ей спуститься. Но уж ухватив кого-нибудь цепкой лапкой под локоть, старалась не отпустить подольше, плачущим голосом просила проводить до следующей приступочки, а если кто поддавался — и до магазина, и с первых же шагов начинала слезливо жаловаться на соседа, который всячески травил ее и обижал, подсыпал клопомор в кастрюли, а вчера (каждый раз это было вчера) стукнул ее половником по голове с явным желанием убить — вот, можешь пощупать шишку; жалоба переходила на дочерей, которые ни копейки ей не присылали, на собеса, который обманул ее с пенсией. Были эти жалобы однообразны и докучны, попавшиеся один раз старались больше эту бабку не замечать, проходили мимо, как бы задумавшись или отвернувшись в более важную сторону. Симе покорно давала себя ухватить, и бабка облюбовала ее в свои постоянные жертвы. Она даже нарочно подгадывала для своих выходов час, когда в киоске начинался обеденный переерыв, так что Симе приходилось жертвовать частью этого времени, выслушивая слова, каждый день те же, как лента эскалатор-

ных поручней, о которых старуха тоже продолжала поминать, как о наивысшей гордости рабочего человека, создавшего вот этими вот руками все, что присваивала потом интеллигенция вроде Симы.

Симины покорность была не просто от жалости, ей как будто самой надо было немного подержаться за продолжавшую жить старуху. Ее смущало незаметное исчезновение других: просто переставали вдруг появляться во дворе и у киоска. Точно растворялись. Лишь иногда соседские старички и старушки собирались озабоченной тихой стайкой возле автобуса, дожидавшегося у подъезда, чтобы увезти такого же, как они, прямо из квартиры на кладбище. Было странное чувство все более спускаемого воздуха: как будто открывалась где-то дыра в неизвестную пустоту, с которой все здесь когда-нибудь должно было сравняться...

Однако настоящего сдвига чувств она бы не испытала, если бы нечаянная встреча не пробудила ее однажды точно от какой-то спячки. Это случилось в пору, когда из магазинов стали исчезать самые простые товары, и Сима как раз обнаружила, что осталась совсем без соли, потому что в отличие от других не позаботилась сделать основательные запасы. Кто-то сказал ей, что видел соль в одном из сравнительно отдаленных магазинов. Пришлось отправляться туда. Пачки соли были действительно сложены в витрине аккуратной пирамидой рядом с такой же пирамидой рыбных консервов, больше под стеклом ничего не было. Сима увидела их сразу от дверей, но прежде, чем у прилавка она подняла взгляд на продавщицу, сердце ее неприятно сжалось — точно знакомый, напоминающий о тошноте запах коснулся ее ноздрей. Нарумяненное, как у кустарных кукол, белое круглое лицо, естественно, располнело, как бы раздулось, и поредевшие волосы крашены были в белокурый цвет, но не узнать ее было, конечно, невозможно. Рая, судя по вздрогнувшей на губах усмешке, тоже явно ее узнала. Отступать было поздно, Сима быстренько опустила взгляд опять на прилавок, где, однако, ничего не прибавилось для разглядывания — но можно было считать, что она как бы сдержанно кивнула, ничего не уточняя словами. А в следующий миг увидела позади прилавка круглое детское личико. Мальчик двумя руками передвигал машинки по перевернутому картонному ящику из-под масла. Он вскинул на нее длинные загнутые ресницы, и взгляд его зеленоватых, словно затуманенных глаз уколол Симу.

«Мой», — с готовностью подтвердила Рая, не дожидаясь формального вопроса и вообще обойдясь без предварительного ответственного ритуала. Магазин был не менее пуст, чем прилавок, Рая была явно не прочь поговорить перед безмолвной, словно отчего-то онемевшей посетительницей. Сам вид ее делал необязательными особые выяснения, хватило немногих промежуточных междометий. Превосходство материнского положения было очевидным, Раю даже потянуло его немного затушевать. Она зачем-то стала рассказывать, как не удалось пристроить Славика в летний лагерь, а дома ремонт, и отпуска не дают, приходится мальчику вот так проводить лето. Даже погулять поблизости нигде, все крутом, видишь, перерыто, и по нынешним временам выпускать одного боязно, тем более он такой рассеянный, ему вроде бы очки надо выписывать... Мальчик прислушивался к разговору, наклонив к плечу круглую мордашку. К грязной щеке его прилипла светло-зеленая сухая сопелька. Про Юру в тот раз не было сказано ни слова, и Сима не спрашивала, она вообще не в состоянии была ничего спросить, только дожидалась возможности попрощаться. И лишь вернувшись домой, обнаружила, что соль-то купить забыла.

Так что на другой день у нее оказался повод наведаться в этот магазин снова — хотя она уже знала, что это всего лишь повод. Зато она опять увидела эту трогательную мордашку, эти загнутые ресницы и затуманенные, словно близорукие глаза, и мальчик ее узнал, сказал «Здравствуйте», и никакой неловкости не вышло, когда Сима вызвалась с мальчиком прогуляться а ближний парк, и Рая согласилась просто, как будто ей понятно было это естественное желание, с оттенком даже просьбы. Как будто она делала некоторое вроде бы одолжение с высоты своего превосходства. Но Сима не стала думать о самолюбии.

Это было короткое счастливое время, когда она просыпалась по утрам с чувством предстоящей радости — и тотчас вспоминала, отчего это чувство. У нее как раз начинался отпуск, который обычно выбивал из привычной размеренной колеи и только портит настроение, напоминая о незаполненном времени — неизвестно ведь было, что с ним делать. А тут целый день можно было занять детскими удовольствиями. Они гуляли по парку, кормили в пруду лебедей, катались на карусели, которой Сима не успела насытиться в свое время, ели вместе мороженое, которое она любила, но себе одной стеснялась покупать. Она словно

наверстывала недополученное когда-то и вспоминала вместе с ним собственные забытые умения, складывая бумажные кораблики и делая свистульки из стручков акации. Подняв из дорожной щебенки камешек гранита, она показывала Славику вкрапления красного шпата, белого кварца и особенно — плоские блестящие слюды на разломе, которыми любовалась когда-то, когда ей было столько же лет и она собирала коллекцию доступных камней, потому что мечтала стать геологом, как папа. (В самом деле, надо же — сама забыла). Прошлые и новые мелочи все больше наполняли ежедневную жизнь, она оказывалась как никогда вместительной — и продолжала разрастаться. Каждый день Сима что-нибудь Славику покупала: сладость, значок, игрушку — переживая вместе с ним знакомое, оставшееся неудовлетворенным чувство ожидания и радости от подарка. Ведь тебе в этом возрасте еще так мало дано. Только взрослые могут что-нибудь купить, заработать, сделать (как сама покупала себе когда-то цветы, ни от кого не дождавшись) — тебе все дается пока лишь в виде подарка — то есть как чудо. Они и дурачились, и болтали, как ровесники. Славик восхитил ее однажды загадкой: «Что такое: тридцать девять — бум, тридцать девять — бум?» Оказалось: сороконожка, одна нога деревянная. И Сима смогла ответить ему не менее смешной загадкой, которую ей рассказали когда-то, кажется, на работе: «Что такое: животное цвета сирени, видит одинаково спереди и сзади, прыгает выше колокольни»? Разгадка была невозможна: белая слепая лошадь. Потому что сирень тоже бывает белой, колокольня вовсе не прыгает, а слепая... ну, Славику не надо было растолковывать, он уже прыгал от восторга и требовал от нее вспомнить что-нибудь еще, и она, к собственному удивлению, вспоминала...

До окончания рабочего дня надо было отвести мальчика в магазин — о домашнем адресе речи не возникало, и даже телефонного номера Сима не спрашивала — да и зачем было? Славик, прощаясь, прикивал к ней всем своим телом, тяжелым и вялым, головой уже ей по грудь, обвивал теплыми руками, а она пыталась его хоть чуточку приподнять. Рая глядела на них, снисходительно усмехаясь крашеным ртом, зажигала сигарету. Перед уходом Сима покупала у нее что-нибудь необязательное — словно требовалось дополнительно оправдывать чем-то свое появление здесь. Запас соли тоже в конце концов ни у кого не портится. Ей было неприятно обнаружить, что Рая, получая деньги по-

мимо кассы, явно ее обсчитывала. К таким вещам Сима вообще-то привыкла, причем именно со знакомыми продавщицами. Они сами ее откровенно как-то и просветили: а на ком зарабатывать, как не на знакомых? С незнакомыми еще неизвестно, на кого напорешься... Но тут показалось как-то неприятно, хоть все деньги-то были копеечные. При этом Рая не упускала случая пожаловаться всякий раз на жизнь, на Юру, который не просыхал, по ее словам, от запоев, и в дом давно уже не носил, только из дома. Дай ему волю — все бы пропил, до коронок, и сколько это еще терпеть? Ремонт все никак не кончится, они ведь договаривались платить оба, так нет, он тут же, конечно, слинял, ей все приходится тянуть одной, и дом, и сына... Сима плохо тогда поняла, при чем тут ремонт и в каком смысле Юра слинял. Ее только удивило вдруг странное сознание, что всем приходилось почему-то труднее, нежели ей, в самом деле, она даже не могла бы сказать, чего ей не хватало в смысле квартиры, еды, одежды, не говоря о зарплате вдобавок к пенсии. У одинокой ведь сами потребности меньше, тем более, что и ела-то она, как птичка... И тут же открылась другая мысль: что она, избавленная от забот, своими деньгами вносила как бы добровольный налог на содержание Славика — каким еще способом она могла бы дать эти деньги Рае? От такой мысли ей стало просто и весело, она не только не заботилась теперь пересчитывать сдачу, но сама сознательно добавляла.

Как-то с прогулки она завела Славика к себе домой, покормить домашним, заранее приготовленным обедом. Даже мясо для жаркого удалось достать, и слив купила на рынке. Хоть она и немного умела готовить, но в кафе и столовых была вообще не еда. Мальчик, едва оглядевшись, сразу прилип к пианино, стал трогать пальцами клавиши, и разрозненные звуки отозвались в ее теле такой живой — как будто очнувшейся, сладкой дрожью! Сима осторожно попробовала сама — и не ощутила испорченно-го, скребущего дребезжанья. Она стала показывать Славику мелодию, направляя к нужным клавишам его теплые мягкие пальцы... (Как сладко было эти пальчики нечаянно встретить в тарелке с прохладными гладкими сливами!.. прикосновение нежности и любви). «Я ехала домой, душа была полна», — вместе с мелодией проявились вдруг в памяти слова, пахнувшие когда-то мартом, талой водой, холодным вагоном трамвая. Душа была полна... точно оживало возвращавшееся неизвестно откуда чув-

ство... Неясным для самой... Слова, оказывается, не исчезли в ней насовсем, они где-то хранились, существовали, и вот сумели пробиться... Душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем...

И вдруг в приливе нежности она поняла, что надо ей сделать. Она подарит это пианино Славику. У него явно были способности, он схватывал так быстро, и мелодия под его пальчиками звучала такой нежностью! Ей пианино ведь в самом деле уже ни к чему. Проблема была лишь в том, как это сделать без неловкости.

Случай опять сам пришел ей на помощь: в тот самый день, когда она отводила мальчика в магазин, перед входом им встретился Юра. Сима его, возможно, не сразу узнала бы, если б не Славик. Он бросился отцу на шею, и Юра вскинул его вверх, повертел на вытянутой руке под небом, и у Симы вместе с мальчиком замерло сердце в испуганном восторге. Юра был в грязной спецовке грузчика, щеки в серой щетине, одного переднего зуба внизу не было. Без объясняющих разговоров, по одному его виду можно было догадаться о его состоянии, и что он здесь торчал в надежде получить у Раи на опохмелку. Но взгляд наглых зеленых глаз был тот же, и после нескольких слов он стал казаться тем же, узнаваемым: прежние черты проявлялись сквозь порченую временем поверхность.

— А ты прям совсем не изменилась, — сказал он с некоторым даже удивлением, отпустив сына в магазин. — Ну, кожа, допустим, малость того... А так — прям как из холодильника... Сима-Сима-Серафима, да за что же ты любима? Помнишь, как я?.. Играй, играй, тальяночка... Да? Раз сыграешь — и не переиграешь. Так почему-то всегда выходит. Мужики, говорят, что надо? Чтоб было за что подержаться, да? Не в смысле, что я нас с тобой имею в виду. Но просто, как говорят, такие выходят дела. Как сажа, бела. Не вышло, значит, мочала, начинай сначала. А? Может, действительно? Как ты считаешь?

Сима слушала его в странном смятении, понимая, что ответных слов тут быть не может. В этом привычном механическом ерничанье не следовало искать смысла, он просто говорил слова, чтобы отогнать какие-то другие. «Но тогда бы не было Славика», — готова была она сказать — как будто имея в виду утешение. Но это тоже лишено было смысла. И в какой-то момент, когда в Юриных словах возникла пауза, похожая на утомлен-

ный сбой. Сима — будто вдруг вспомнив — сказала про свое решение подарить Славику пианино.

Он, показалось, не сразу понял, а, может, не сразу вспомнил, что у нее есть пианино. Или не сразу поверил. Сима поспешила добавить, что ей пианино действительно совсем не нужно, а мальчика надо учить, у него настоящий слух и, главное, желание. Вот тогда он опять оживился, обрадовался, заявил, что прямо на днях сам приедет с грузчиками и без промедлений перевезет инструмент.

Сима была довольна простотой решения. Войдя в магазин, она тут же сообщила о подарке Рае и Славику. Ах, как обрадовался мальчик, как запрыгал и захлопал в ладоши, как прижался к ней своим вялым, теплым, тяжелым телом, которое ей так хотелось всегда и так не удавалось приподнять! Она целовала эти прохладные щечки (под снисходительным взглядом матери), как будто в них содержалось что-то, происшедшее внутри...

Почему она сразу не сопоставила очевидных, уже известных ей обстоятельств? Ну, хотя бы того, что ремонт был затеян не просто в связи с обменом квартиры и уже близким переездом, что Рая с Юрой давно не жили вместе, а теперь фактически разъезжались? Юра приехал с грузчиками действительно без промедления — следующим же вечером. Выносили они инструмент без сноровки, задевали за стены, за дверной косяк и даже поцарапали в передней обои — а она еще не подозревала, что натворила. Придя на другое утро в магазин, Сима не стала вначале спрашивать, как довели пианино, ждала, что Рая заговорит об этом сама, скажет хотя бы спасибо. Славика при этом не было, он задерживался в туалете, что-то у него случилось с животом, они обсудили возможную причину; надо было просто его дожидаться. Неудобно же было напрашиваться на благодарность. Но, так и не дождавшись хотя бы вежливых слов, с чувством вынужденной нескромности, Сима все-таки спросила: «Ну как Славик, играет?» И по взгляду Раисы поняла, что что-то не так, и упало сердце... Прикрыв глаза и запрокинув лицо вверх, Рая стала беззвучно смеяться, в этом смехе и гримасе лица — как смазанная на губах помада — было какое-то усталое брезгливое презрение. Сима поняла, что не сможет дожидаться приближения почудившихся славикиных шагов — и вообще не сможет его больше увидеть...

Так оно и получилось — отчасти само собой, потому что, разменяв вскорости квартиру и переехав в другой, неизвестный, рай-

он, Рая поменяла, видимо, и место работы. Узнавать новый их адрес Сима даже не попыталась...

Легонько закрапал дождик. Прохладное прикосновение вернуло ее в сквер. На крыльце школы никто все еще не появлялся, только две девочки с собакой взбежали спрятаться под козырек. Неужели придется уходить?.. Однако тут же, словно удостоверяя недолговременность дождя, между высоких домов пробился луч солнца. На открытом месте, возможно, светилась сейчас радуга. Издалека донесся слабый звук колокола — где-то там была церковь. Сколько их объявилось в городе, будто затаившихся прежде, иной раз со снятыми куполами, не говоря о крестах. Неподалеку от Симиного дома тоже обнаружилась церквушка, называвшаяся прежде складом. Однажды что-то потянуло Симу туда пойти — точно потребность вспомнить дальше забрезжившие было в памяти строки. Я ехала домой... и какой-то благовест?.. звучало уже близко... Была оттепельная слякоть, многие люди шли в ту же сторону, все больше женщины, почему-то с разнокалиберными бидонами в руках. «А где здесь воду продают?» — уже у самой церкви спросила ее попутчица, тоже, видимо, новенькая. «Вон там, у ворот, очередь», — пришла на помощь другая, уже с полным бидоном. «У, долго!» — засомневалась женщина. «Нет, быстро пройдет. Здесь такой порядок». Сима неуверенно пошла вслед за прочими. Ее смущало, что она без бидона, она не знала, как себя вести. У ворот распоряжался пожилой мужчина в черной железнодорожной шинели с оловянными пуговицами, пропускал небольшими партиями. «Не торопитесь, проходите организованно, в порядке очереди», — услышала Сима — и не могла понять, от кого же исходит голос. Железнодорожник вроде бы не раскрыл в это время рта, она как раз на него смотрела. То был укол знакомого, болезненного испуга, от которого, казалось, почти удалось избавиться. Она все еще напряженно сжималась вся, прислушиваясь к чему-то в церкви, где пахло одновременно известкой и ладаном. У стен стояли строительные леса. Пение и неразборчивый речитатив отдавались под голыми сводами, эхо множило разноголосое бормотание, сквозь него проступало все еще непонятно откуда: «Почем поллитра?» — «Два пятьдесят». — «А раньше было». — «Не говори»... Симе стало не по себе, она поспешила выбраться на воздух...

Если бы при всем том можно было самой распоряжаться еще и своими мыслями, не допуская ненужных! Долгое время она в прихожей не могла не глянуть на поцарапанные обои. Надрыв удалось подклеить почти незаметно, и все-таки она искала его взглядом — как будто нужно было и в себе вспоминать надрыв. Конечно, время само понемногу все-таки что-то разглаживало. Зато помимо всяких желаний в мозги лезло что угодно: бессвязные клочки, имена прежних сослуживцев: Баснер, Китаева, Клавдия Николаевна ругалась с Машей из-за перегоревшего кипятильника, в палате, пропахшей мочой, обвиняли кого-то за пропажу из холодильника продуктов, и ты понимала, что это говорят тебе, но как было доказать теперь свою невиновность?..

Однажды Сима поняла, что надо иметь рядом хоть кого-нибудь, способного все-таки притягивать к себе мысль и чувство. Это оказалось не так просто, как думалось — даже с кошкой. Сима подобрала ее зимой, ничейную, дожидавшуюся у входных дверей, чтобы ее пустили в подъезд погреться. Маленькая, с трехцветной шерстью, она оказалась ласковой, привязчивой, чисто-плотной и совершенно не хотела больше на двор. Ночью она устраивалась спать прямо на Симе, и Симе было не тяжело. Через одеяло передавалось тепло и урчащая дрожь маленького дышащего тела. Только вот к весне кошка забеспокоилась, она не находила себе места, бродила по квартире, подолгу задерживаясь у дверей, с мучительно громким мяуканьем, обрызгивала понемногу мочой разные неподобающие места, выставляла напряженный маленький задик. А то ложилась прямо под ноги Симе на спину и томно поворачивалась с боку на бок, задрав изящно согнутые лапки. По неопытности Сима не сразу сообразила, в чем дело. Мысль о появлении в доме еще и котят ее зараннее пугала, но выносить кошкины мучения тоже было превыше сил, и, не зная других способов справиться, она однажды все-таки согласилась выпустить бедняжку на улицу. Благо, на первом этаже это было просто. В первый раз кошка пропадала сутки, Сима уже думала, что не вернется. Однако вернулась — утомленная, успокоенная, с жадностью набросилась на еду. А на другой день стала еще неистовей проситься у двери, и Сима опять не могла ее не выпустить. Продолжалось это недолго. Однажды кошка все-таки не вернулась, Сима попробовала ее искать, а потом встречающая соседка спросила: «Это не вашу кошку разодрала овчарка из восьмидесятой квартиры?» — и стала рассказывать, как это

произошло, но Сима уже не слышала и от предложения посмотреть растерзанный трупик отказалась. Больше она никаких животных завести не пыталась — от страха кого-нибудь опять потерять.

Зато с кем оказалось в этом смысле просто, так это с мухой, которая завелась в доме сама собой — слава Богу, одна. Сима потом со стыдом вспоминала, как в первый момент по автоматической привычке чуть было ее не прихлопнула. (От насекомых у нее были марлевые сетки на узких створках всех окон). Муха вырвалась из-под руки, заметалась возмущенными зигзагами, зажужжала обиженно и сердито, но далеко улетать не стала, опустилась на прежнее место, как будто испытывая, станут ли ее обижать еще раз. Даже смотреть не стала на хозяйку, села к ней задом, чистя лапки — но Сима-то знала, что на самом деле муха умеет видеть и позади себя, так устроены ее выпуклые граненые глазки. Потом муха все же повернулась к ней и принялась чистить передние лапки — точно соглашалась не обижаться и предлагала мир. Симу развеселила эта добродушная повадка, она нашла на скатерти хлебную крошку, пододвинула к мухе. Та в первый миг взлетела, но тотчас опустилась, подползла к крошке, стала трогать ее черненьким хоботком.

С тех пор они все больше привыкали друг к дружке. Муха безбоязненно ползала рядом с рукой и по руке, позволяла сколько угодно за собой наблюдать, а тем более с собой разговаривать. Уходя из дома, Сима оставляла ей на специальном блюдечке разной мелкой пищи, как домашнему существу, а однажды купила обоим баночку смородинового варенья — на себя одну бы не стала тратить. Поскольку муха была в квартире единственная, это позволяло не путать ее с незнакомыми и не опасаться размножения. Даже для проветривания Сима зря окон не открывала — разве что иногда осторожно.

Непонятно, однако, было, каким образом — при марлевых-то сетках — на оконном стекле оказалась однажды залетная гостья: пчела. Она в отчаянье пласталась и билась о невидимую прозрачную преграду, не могла понять, что же ее не пускает к свету, к вольному воздуху. Муха притихла где-то в отдаленном укрытии и появилась снова, лишь когда Симе удалось осторожными подталкиваниями выпустить непонятную, угрожающе шумную, но все-таки глупую незнакомку.

Удивительно, подумала однажды Сима: как будто муха стала существовать только теперь, потому что я в нее всматриваюсь и о

ней думаю. И чем больше я в нее всматриваюсь, тем больше она существует: с этими вот глазками черно-радужными, с лапками в зубуринках, которые она так забавно чистит одну о другую, с трудной жизнью среди громадных опасных существ, которые так и норовят тебя прихлопнуть, безо всякой вины, причины и надобности. А до этого было так, неприятное раздражение, досадный шум около уха: ж-ж-ж. Вон как сосед с какого-то верхнего этажа затеял ремонт и сверлит дрелью целыми днями: ж-ж-ж. А ты даже не знаешь, кто это, из какой квартиры, как его зовут, как выглядит. Хотя, наверное, встречалась в подъезде, но даже не отметила взглядом. Интересно, думала Сима, чувствует ли муха, что благодаря мне она все больше существует? Смешная мысль. Может, она заслуживает, чтоб ей дали имя. Может, это про нее уже написаны какие-то стихи. Смотрит на меня... и что, интересно, видит? Может, и я для нее теперь не просто опасная стихия, от которой жди только беды? У меня тоже есть жизнь, есть имя? Способна она обо мне тоже что-то такое думать? И я для нее тоже кем-то становлюсь? Может, каждому надо, чтоб в него именно всмотрелись, не мимоходом, а выделив среди других, тогда ты станешь существовать не просто так, а для кого-то...

Конечно, таких глупых мыслей никому, кроме мухи, лучше было не выдавать. Сима сознавала, как нелепо, наверное, было вообще размышлять собственным недостаточным умом над вещами, которые за тысячи лет скорей всего уже продумали и решили люди, с тобой не сравнимые, просто ты не добралась — и не доберешься уже, наверное, никогда до этих книг. Все равно что биться головой о стекло, как та пчела, не понимая преграды — но существует ли рука, которая приоткроет тебе окно и все разрешит? Сложность-то была в том, что никакое чужое, снаружи, знание не могло заменить внутренних попыток. Пусть это даже глупые заскоки. Существовать в действительности могло только внутреннее понимание. Память об установленной когда-то врачами болезни в каком-то смысле помогала ей не стыдиться и не осекать собственных мыслей.

К осени муха стала совсем ручной, она не улетала, даже когда ее трогали пальцем, и до Симы не сразу дошло, что это признак не доверия, а слабости, по-видимому предсмертной. Однажды она обнаружила муху на подоконнике в виде безразличного катышка грязи и чуть было не смахнула ее тряпкой для протирания пыли. Но, узнав убогое тельце, положила его на верх шка-

фа — с мыслью, что у мух смерть может быть не окончательной, их преимущество перед людьми — в способности оживать со временем. Если, скажем, весной тельца на месте не окажется — можно ведь думать, что она где-то продолжает существовать, просто исчезла из лично твоей жизни. Не впервой. Сколько уже так исчезло. Это не всегда окончательно. Про людей мы вообще, может, меньше знаем...

Ей самой знакомо было не просто состояние, похожее на повседневную безжизненную спячку. Иногда в минуту слабости, напминавшей безразличие, улегшись прямо в одежде на постель, она могла расслабиться так, что исчезало чувство тела, отделенного от окружающего пространства, само пространство теряло очертания, все растекалось, как дыхание, неизвестно куда. Оставалось ощутимым лишь последнее зернышко внутри — тепло дотлевавшей искорки. От твоего желания зависело окончательно от него отказаться — но остаточное сопротивление заставляло тебя все-таки вернуться непонятно откуда. Как будто действительно надо было зачем-то вставать, делать все те же дела, идти все в тот же киоск.

Против киоска рыли какое-то углубление в земле, огородив траншею бетонными плитами, на одной из них было крупно мелом написано: «Бабка дура!». Каждое утро из двухэтажного здания почты напротив выходила эта самая бабка, тощая, в домашних шлепанцах или галошах на босу ногу, с подметальной щеткой и скребком. С некоторых пор она поселилась здесь на правах то ли сторожихи, то ли дворничихи, а скорей всего просто из милости, и каждый день с утра приводила в порядок асфальтовый пяточок перед почтой, через который тут же начинали ездить самосвалы с грунтом. Грязь отлетала комьями с мощных рифленых колес, сыпалась из кузовов. Старуха тут же принималась убирать снова, не смущаясь бесполезности своего труда. Наверное, она тоже была не совсем нормальной. Несчастьем ее были окрестные мальчишки, она их всех заранее подозревала в стремлении мусорить, хулиганить и пакостить, встречала и сопровождала чудовищной мужицкой матерщиной, замахиваясь подметальной щеткой — зачем? Вначале они пугались ее, поскорей отбегали на безопасное расстояние, потом поняли, что ничего она им взаправду сделать не может, и стали изводить ее всевозможными пакостями — да не дразнильными надписями только. Один раз даже стекло ей камнем побили. Если, конечно, считать, что стекло было ее. Постепенно

она утихомирилась, смирилась с неизбежным злом их существования, только при всяком случае жаловалась на извергов проходившим знакомым, таким же убогим старухам. Те охотно слушали, чтобы тотчас в ответ излить собственные жалобы: на недостаточную пенсию, на детей, на соседей, на приезжих, из-за которых не протолкнешься в магазинах, ну, и вдобавок на правительство, которое в конечном счете было во всем виновато. Та, опершись на палку щетки, с терпеливой скукой кивала, дожидаясь очереди возобновить свою партию. Насчет правительства у нее было, впрочем, особое мнение.

— Правительство не виновато. — говорила она. — Это все ебетня.

— Чего? — переспрашивала собеседница.

— Ебетня. Рожают детей без конца, а потом их корми. Разве напасешься, когда их вон сколько? Никакое правительство не напасется.

Собеседница отходила, покачивая головой, то ли для лучшего усвоения новой мысли, то ли отмахиваясь от нее, а бабка снова принималась восстанавливать бессмысленную чистоту на своем пяточке — до следующего самосвала. Сима тоже покачивала головой, глядя на нее из своего киоска, чутким слухом улавливая с расстояния даже продолжавшееся бормотание под нос — вперемешку все с той же бессмысленной матерщиной. Но что-то было для нее ободряющее в этом безумном упорном нежелании уступать, сдаваться. Она сама бы не могла объяснить своего чувства. Наверно, правильной было в него и не вникать.

Потому что простым умом невозможно было справляться со смущавшими разговорами, новостями, с неясными угрозами, которых в жизни возникало непонятно откуда все больше и больше. У киоска, хоть теперь и не было прежней очереди за «Вечоркой», всякий день обсуждали то газетное убийство, то повышение цен, то захват заложников — где-то все время по-настоящему воевали. Больней же всего задела Симу близкая новость: о несчастье с участковым врачом Лисицким. Его подстерегли возле дома неизвестные хулиганы, перебили ноги железной трубой, а вдобавок еще поколотили до полусмерти. Вроде бы за то, что отказался выписать то ли больничный лист, то ли рецепт наркотического лекарства. Он был еще не старый, лет под пятьдесят, на вид крепкий, а жил, оказывается, одиноко, никого у него не было,

и женщины у киоска сговаривались, чтобы носить ему в больницу передачи.

Сима этого Лисицкого сама побаивалась. Мужчина в роли участкового врача и так вызывал стеснение, а этот был еще известный грубиян, всякий свой визит по вызову начинал с раздраженных жалоб на мнимых больных, которые замучили его выдуманными болезнями, хотя у пожилых всего навсего обычный климакс, могли бы и без врача справляться. Сима и так старалась до крайней надобности обходиться сама. Мысль о врачах ее вообще как-то заранее смущала. С температурой, и то шла иной раз в киоск, а приступы непонятной слабости объясняла для себя собственными догадками, и они проходили сами собой. Одна полужанна женщина как-то захопотала, увидев ее в киоске: «У вас же губы совсем белые». Вытащила из сумочки стеклянный цилиндрок с таблетками, заставила ее одну положить под язык, остальные оставила про запас. «Как же вы можете с таким сердцем не обращаться к врачу?» Таблетка в тот раз действительно подействовала ускоренно, Сима прибегала к этому способу еще раз-другой, но к врачу все-таки идти медлила. Тем более, несколько таблеток у нее еще оставалось, она их сэкономила — на крайний случай. И вот как, оказывается, опоздала... сразу, просто ухитрялась обходиться все больше без мелкого чтения — пока и со шрифтом

Из-за того же смущения перед врачами она ведь и на ослабленные глаза пожаловалась не покрупней не стала затрудняться. (А надо же было и в разных ведомостях расписываться). Газет она не стала читать, даже заполучив очки, только пробовала понемногу просматривать. Новости все-таки с трудом укладывались в голову. В каком-то зоопарке шестиклассник залез в клетку пантеры и попытался отнять у нее кусок мяса. Бездомные погорельцы заняли здание тюрьмы, поставленное на ремонт, и потребовали, чтобы их там, в камерах, прописали. А где-то в приморском городе беженцы расселились в санаториях и выходили в море ловить рыбу на водных велосипедах. Только головой можно было покачивать — но ничто от этого не утрясалось

Другое дело были, конечно, книги. Читала она не так много, как раньше, и старалась выбирать истории, где речь шла о других временах и странах, о людях, никак на нее не похожих. С детства держалось чувство наивного удивления: как возникают новые, никогда не виданные картины — из соединения чужих слов, но

внутри тебя, и потому оказываются все-таки немного твоими. Зато что-то сопротивлялось описаниям жизни, именно узнаваемой, похожей на твою. Не просто потому, что казавшееся тебе единственным, необыкновенным, таинственным выглядело здесь общеизвестным и до тоски заурядным — для этого существовали, оказывается, слова, напоминавшие готовые бесчувственные термины, вроде медицинских, а иногда такие же неприятные.

Но хуже и непонятней всего было со стихами. Словно продолжало держаться в голове все то же болезненное замыкание. Казалось бы: не можешь сама вспомнить нужных строк — вот тебе книга, открой, перечти, заучивай наизусть снова... Нет, что-то тут не получалось именно по-настоящему. Что-то внутри мешало стихам не просто вернуться в память (насиленно заученные слова задерживались почему-то все равно ненадолго), но совпасть с чувством изумленного узнавания, когда-то похожего на открытие. Ведь именно в стихах существовали слова о, казалось бы, не раз виданном, испытанном — но такие, что тебе самой в душу не приходили и вроде бы придти не могли; теперь оставались неживые, склеротические оболочки...

Это было трудно выразить, но однажды что-то близкое вдруг померещилось ей, когда на газетный киоск обрушился июньский ливень... Чувство свежести и прохлады, словно возникшей когда-то из давних, таких любимых строк, когда шумел по окну дождь, и влажные ветки лезли из сада... — как он умеет это передать! — восхищенно думала ты, не в силах оторвать взгляд от страницы, и слух не воспринимал ропота струй, хлещущих по стеклу... Сима очнулась от нечаянной задумчивости. Под неплотно задвинутое окошечко на пластиковый прилавок натекла выпуклая лужица, в ней отражался свет неба. Ветви тополя, нависавшего над киоском, еще откликались на прощальные порывы ветра. Крупные капли звучно плюхались в лужи... Какие же это были стихи о дожде?..

Расслабленный взгляд соскользнул на брошюрку, поступившую утром вместе с газетами. Серенькая, стандартного вида, с силуэтом березы и трудночитаемым заголовком: «Конец дороги». Механически открыла страницу — и удивилась: это оказались стихи. Утром даже не посмотрела. Надела очки, взгляделась в начальную строку — и точно коснулась провода: «Что же делать, стихи никому не нужны»...

Неожиданней самих стихов было для нее собственное волнение. Женщина-поэтесса ощутила вдруг, что все написанное и прочувствованное ею за долгие годы ушло в пустоту, невесть куда, никого не коснувшись. Имело ли смысл бормотать свои слова дальше — опять неизвестно кому? Зачем была тогда вся жизнь, все труды, от которых уже не останется следов? «И тоска неумная душу грызет. Кто меня помянет?..»

Наверное, стихи были в самом деле хорошие, Сима ощутила эту тоску в самой себе с такой силой, что невольно сжалась. Что же это было такое? Зачем она так? Нет, дело было не в том, права или не права была грустная женщина: вот, коснулись же ее слова хотя бы одного человека, не ушли ни в какую пустоту. И книжка — вот она, существует. Но что же тогда делать другим, которые никаких стихов не смогли написать и вообще ничего после себя не оставили — кроме какой-нибудь бесконечной ленты каучуковых поручней? И то, если еще повезло. Пока этот каучук не сносился, не истерся прикосновениями рук, есть хотя бы, что вспомнить. А если и поручней от твоего существования не возникло, ни предметов, ни записанных слов? Если кто-то не оставил после себя даже детей? Что ж, выходит тогда, жизнь вообще ничем не была оправдана — ушла куда-то именно без следа и смысла, напрасно, как будто и не было? Так не могло быть, она ведь помнила по себе, что-то тут было не так...

По пути на обеденный перерыв домой Симу остановил вдруг полужнакомый мужчина, сосед со второго этажа: «Можно вас на минуточку?» Остановилась с недоумением, немного даже тревожным, ожидая, что он скажет. До сих пор они, кажется, лишь просто так здоровались, она даже не знала его по имени, как не знала большинство населения в этом геометрическом однообразном доме — считай, небольшой городок. Сосед стоял молча, шевелил губами, цвет лица был болезненно-серый. «У Любочки сегодня день рождения», — проговорил вдруг, непонятно к чему. Нитка слюны стекла с мятой стариковской губы, и это показалось ужасней, чем если бы слеза капнула. Сказал и пошел дальше. А Сима осталась стоять, словно обессиленная. Она только тут вспомнила, что у соседа полтора года назад умерла от белокровия жена, она ее помнила, молодая на вид женщина, зимой иногда ходила перед ее окном босиком по снегу — для закладки. И вот он, оказывается, как... И не перед кем было высказать...

Она не могла бы внятно выразить нахлынувших чувств. Слово еще один укол чужого тоскующего одиночества нарушил какой-то охранительный механизм, помогавший ей до сих пор терпимо держаться без волнующих соприкосновений с другими — а, может, и с чем-то в себе самой. Она не могла объяснить, какая смутная потребность побудила ее вдруг достать с антресолей один из картонных ящиков, так и оставшихся нераспакованными со времен переезда; там должны были лежать семейные альбомы с фотографиями. Сима не первый раз уже вспоминала про них, собиралась извлечь, но как-то не доходили руки. А, может, не так уж на самом деле и хотелось. Ее точно смущала какая-то навязчивая сила этих изображений, способных подменить что-то в собственном чувстве, если не просто в памяти. Она ощутила это однажды, обнаружив, что не может вспомнить даже родителей иными, чем на нескольких посеребривших отпечатках, порознь и прижавшихся щекой к щеке. Эти фотографические лица, словно вырезанные, приставлялись к телам любого воспоминания.

Оба альбома были в одинаковых переплетах красного плюша с кустарно вклеенными фотокартинками: «Память о Кисловодске». Наверное, и куплены были там одновременно для накопившихся отпечатков. Между альбомами оказалась проложена тонкая бархатная подушечка, на ней по уголкам крестиком был вышит орнамент, а посередине цифры: 1914, каждая своим цветом: розовым, голубым, зеленым и желтым. Сима помнила, как в детстве иногда полеживала на этой подушечке, а то и просто подкладывала под себя на жесткий стул, совершенно не интересуясь цифрами и не понимая, что они обозначают. Это вышивала ее бабушка, а может, прабабушка. Сима сразу попробовала найти ее фотографию среди других, лиловых и коричневатых, наклеенных на твердый тисненый картон; но нигде на обороте не оказалось надписей, а она сама не помнила, да может, никогда не знала, кого изображают эта уже немолодая женщина в длинном черном платье и черной наколке, этот бородач в мундире с петлицами неизвестного гражданского ведомства, стоявший рядом с ней, положила руку на высокую витую колонку. Рассказывала ли о них когда-нибудь мама? Не вспомнить... А вот и она. Молодая женщина в легком цветастом платье. Ее ты действительно знаешь, это была на самом деле твоя мама, и молодой человек в кепке — твой папа. Его ты почти не видела, он утонул в экспедиции, и мама умерла вскоре от сердца... Нет, никакого настоящего

чувства, никакой памяти о действительном чувстве эти отпечатки не вызывали.

Второй альбом нечаянно соскользнул с колен. Незакрепленные фотографии вывалились из него на пол. Сима, опустившись, стала их подбирать, задерживаясь то на одной, то на другой непонимающим, неузнавающим взглядом. Вот эта, в школьном фартуке, с челочкой и остреньким подбородком — видимо, ты. Но словно посторонняя, чужая. Не узнала бы себя на улице среди других. В пять ярусов друг над другом — коллектив выпускников такого-то техникума. Не твоего. Три девушки на людной улице, в серых плащах, элегантно подпоясанных. Такой плащ ты как раз недавно вытаскивала из старого чемодана, чтобы отдать неизвестным побирушкам. Позвонили в дверь, назвали себя погорельцами, просили хоть чего-нибудь из одежды, и ты, не выбирая, вытащила им целую кучу вещей, вполне пригодных, которыми просто не пользовалась, а потом, выйдя, увидела всю кучу брошенной у мусорных баков. Видно, погорельцы сочли это вышедшим из моды... А кто вот эти прохожие вокруг? Чья это незнакомая компания за столом неизвестного торжества: бутылки, тарелки, блюда, и себя тут можно поискать? Еще компания на берегу реки, девочка в купальнике... нет, явно не ты, но вот как будто твоя голова высунулась из воды. На песке надувной круг. Вроде бы некоторые знакомы. Посередке расплзлось желтое пятно, как на простыне, которую выставляли напоказ по утрам в пионерском лагере, позоря обмочившихся. Запах больницы, тоски, убожества, горестных человеческих выделений. Сколько людей проходит в нашей жизни на правах случайных соседей по групповой фотографии! Может, в чем-то альбоме и твоя голова высунулась, никому не известная. Ты даже не подозреваешь об этом, но твоя безымянная тень обмерла где-то, непонятная, неприкаянная, приплюснутая плюшевой обложкой — может ли ее кто-нибудь оживить?..

Трудно было объяснить чувство, вдруг погнавшее Симу из замкнутых стен. Как будто стены не просто отгораживали ее сейчас от других, но мешали соединиться с чем-то в самой себе. Хотелось поймать, ощутить чей-нибудь встречный взгляд. Но слишком быстро все проходили мимо, глаза лишь казались видящими. И видела ли ты их прежде сама?.. Поток увлек ее в подземный переход. Это оказался вход в метро, и Сима пошла за всеми без собственной цели. Ее волокло, словно предмет по дну, только

медленнее прочих. Под землей она вообще не любила ездить. На нее всегда угнетающе действовал вид множества людей, которых всасывало в эскалатор через устье сужающихся никелированных поручней, словно горловиной песочных часов. Она и не спускалась сюда давно. Отражаясь от сводов, звучала из невидимого источника знакомая громкая музыка — старинное танго. Пройдя еще немного, Сима увидела игравшего на аккордеоне лысоватого человека со стальными зубами. Против него стоял, прочувствованно мотая опущенной головой, должно быть, заказчик. В кепке на полу лежало несколько денежных бумажек, но прежде, чем Сима сообразила бросить, ее пронесло дальше плотным потоком.

Она постаралась выбраться к краю, чтобы еще больше замедлить самостоятельное движение. У кафельной стены в переходе стояла женщина с тремя симпатичными котятками в лукошке — неужели продавала? Никогда прежде не видела Сима под землей такого разнообразия продавцов — торговый ряд, иначе не скажешь. Большая белая доска увешана была очками в оправках и без, рядом красивое сооружение из искусственных цветов, похожих на настоящие. Еще целый ряд людей продавал взаправдашные документы: трудовые книжки, удостоверения участников войны вместе со свидетельствами о наградах, дипломы всевозможных университетов с готовыми печатями и даже экзаменационными оценками (только для фамилий оставлено было свободное место); еще какие-то корочки с двуглавым орлом, со щитом и мечом... Сима растерянно оглядывалась среди малопонятного кишения обогнавшей ее жизни, даже спрашивать объяснения было неловко. Молодая женщина без слов сунула ей в руку листок с адресом и номером телефона; Сима послушно взяла.

Лишь оказавшись в вагоне, она попыталась всмотреться в лица. Свет был ярок, чрезмерен до беспощадности. Дремотно прикрытые глаза, тени усталости, раздутые сумки на коленях. Напротив женщина вязала спицами, синяя шерсть тянулась из сумки. Многие читали, но не книги, как прежде, а газеты и журналы со знакомыми ей цветными обложками. У дверей две ярко окрашенные девушки смеялись и жевали резинку. На крайнем диване полулежал мужчина — из тех, кого с некоторых пор стали называть бомжами, щека прикрыта воротником грязной спортивной куртки, на глаза надвинута кепка. В миг, когда на него посмотрела Сима, он тоже приоткрыл блестящий глаз —

и тотчас притворно закрыл, как человек, не желающий, чтобы его поймали с поличным. Угреватый паренек наклонился к уху девушки. Что он нашептывал ей слюнявыми растянутыми губами, непристойности или нежные слова? Девушка оттопыренными пальчиками указывала его телу дистанцию приличия, в улыбке ее была готовность поддаться и одновременно недоверчивость. Как это было Симе знакомо! Почему девушки выглядят умней, прелестней и старше? — и что из того? Задерживать на них взгляд было нельзя. Сима скосилась на пожилого человека, сидевшего рядом. В руках у него была плоская красная коробочка с маленьким экраном, на котором мельтешили неразборчивые фигурки; он быстро тыкал пальцами по кнопочкам справа и слева, щека его дергалась в гримасе вдохновенного напряжения. Сима не могла понять, чем это он занимается. А в следующий миг она увидела перед собой мальчика лет семи — не заметила, как он приблизился. Он тянул к ней коробку из-под кукурузных хлопьев...

Она чуть не вскрикнула от укола, доставшего до самого сердца — хотя отдельным умом тут же поняла, что быть этого не может. Мальчик смотрел на нее выжидательно, как будто понимая обычное замешательство; просительно и терпеливо наклонил к плечу круглую милую мордашку. На грязной щеке зеленела прилипшая сопелька. Воздух еще колебался вокруг, сердце замирало на самом краю пустоты. Наконец она суетливо сумела раскрыть сумочку, вынула, не глядя, всю бумажную наличность, сунула малышу в коробку. Вагон уже тормозил. Дверь открылась, мальчик вышел — и вслед за ним метнулся притворно дремавший бомж.

До Симы вдруг дошло: он собрался отнять у малыша деньги. Она едва успела протиснуться между уже закрывавшихся створок. Бомж стоял на перроне рядом с мальчиком, коробка из-под хлопьев была в его грязных руках. Обернул к Симе небритое лицо, посмотрел некоторое время выжидательно, потом подмигнул.

— Чего, бабка, обозналась? Бывает. — Голос у него получился хриплый, она опять готова была сомневаться в действительности происходящего, где путались времена и сквозь прокол в дрожащем воздухе уходил остаток внутренних сил. Ноги едва держали. — Богатый буду...

Послюнявил черные пальцы, отделил от комка денег несколько бумажек, протянул их мальчику, остальные так же, комком, засунул за пазуху.

— Иди пока, погуляй. Купи мороженого, жвачки. Чего хочешь. Встретимся. — И повернувшись к Симе, осклабился в кривоватой усмешке: — Ну?

Еще одного зуба внизу у него не было.

— Мне здесь трудно дышать, — сказала Сима. — Выйдем наверх.

Она как будто надеялась увидеть еще раз мальчика. Что-то пугалось у нее в голове. Слова доходили сквозь шум, она больше всего боялась упасть, но ни одной скамейки поблизости не было. Юра заметил ее слабость, подхватил под локоть.

— Ты действительно не узнал? — спросила Сима.

— Не обижайся, это я так. Как тебя не узнать? Говорю же: ты и не меняешься совсем.

— Как из холодильника.

— Или законсервированная, — ощерил он щербатый рот.

Оба замолчали. Он как будто пытался вспомнить забытые прибаутки. А она не знала, как все-таки спросить о мальчике.

— А где Славик? — вместо этого выговорила она.

— Славик? Чего Славик? Он теперь мужик, выше меня ростом. Последний экзамен вчера сдал. Все. Завтра как раз выпускной вечер. Воң, между прочим, его школа. Там, видишь, за сквером. Голубой дом. Райка им, конечно, весь банкет обеспечивает, икру достала и все такое. Она тоже выросла. Только вширь, во — поперек себя. У каждого свое направление жизни. — Он захохотал, что-то показалось ему в собственных словах смешным. — Я, между прочим, сам имею не меньше ее. Не в смысле вот этих грошей, не думай. Дело не в них. Я свою квартиру за хорошие деньги продал, а теперь не хуже устроился. Хотя вообще эти сволочи — которые обмен крутят — настоящими бандюгами бывают. Помнишь, как я тебе квартиру когда-то устроил? Честь честью, без обмана, да? А ведь есть такие, что могли бы тебя вообще в больнице на всю жизнь оставить. Пропишут тебе принудительное лечение, оформят опекунство, хочешь ты или не хочешь, квартиру присвоят, а тебя в какую-нибудь загородную психушку. До конца жизни, на казенный счет. А будешь брыкаться, еще и прихлопнут. Не говоря об уколах. У! Сейчас не такое делают! Я их во как знаю... Но, ничего. Обошелся. Живу, честное слово,

как никогда. У нас знаешь какая компания подобралась? О! Один, например, настоящий философ, истопником работает. Сам решил. Устраиваем у себя такие посиделки! Не думай, что для выпивки. Выпивка само собой. Для разговора. Гениев тоже, говорят, всегда не сразу угадывают, правильно? Был, у нас рассказывали, такой поэт — как его фамилия?.. умер от самого настоящего голода. Считали тоже чокнутым. А теперь книги выпускают, да? И говорят: гений. Музыкант тоже есть один. На траекторию, говорит, скорей без семьи выйдешь. Потому что семья дает вроде бы равновесие. А в равновесии так и разгнездишься, расслабишься, и стоп, все. Правильно? Тем более, когда попрекать начнут. У нас разговоры бывают по всем интересам. Про инопланетян, про бывший коммунизм... что ты! Я, представляешь, даже стихи наловчился писать. И не обыкновенные, а такие, что можно читать и слева направо, и задом наперед. «Голод долог». Улавливаешь наоборот? «Дорого небо, да надобен огород!» А? Вроде фокуса, а смысл ведь есть, и еще какой. Правильно? Я сам не ожидал. Как поймаешь волну — начинает в уме складываться. «Ем, увы, в уме». А? Даже с философским смыслом. Мне в журнале предлагали напечататься. Не только это. У меня ведь и разные истории есть. О природе, об охоте. Да ты знаешь. Устно — во как получается. Но только записывать что-то пока не тянет. В смысле: для заработка... нет, не по мне. Кому лядсы, а кому колбасы — помнишь такие стихи?...

Симу не оставляло знакомое чувство, что он продолжает говорить, не давая пробиться каким-то другим словам, а может, еще какому-то ее вопросу — и что теперь мог значить вопрос? Вся эта его повадка была от гордости, и от гордости он притворился вначале, будто ее не узнал. Она это понимала, ей-то не нужно было объяснять, что такое беззащитность и уязвимость... Надо было только удержать в памяти название этой станции метро, не забыть. Четкой мысли, зачем, у нее еще не было...

До конца ей не удалось придти в себя даже дома. Из зеленоватого надтреснутого зеркала глянуло на нее в сумеречной прихожей лицо, точно задержавшееся там с других времен. Щечки-подушечки, чуть обвисшие над маленьким заостренным подбородком, румянец, состоявший, если взглядеться, из мелких лиловатых ниточек, усики над все еще пухлой губкой. В школе она утешала себя мыслью о сходстве с одной толстовской героиней... забыла имя... у нее были такие же. Только у тебя вон стали совсем

белые. То есть седые. Смешно в самом деле не понимать работы накопившегося времени, но как все-таки разобраться с ним внутри, где продолжает жить как будто прежде, не замечавшее перемен? Подвыпивший прохожий как-то окликнул ее вдогонку: «Девушка!» — и она вздрогнула, догадавшись, что это к ней. С расстояния выглядела такой же. Они как раз возвращались домой со Славиком. Душа была полна неясным для самой... вот ведь, значит действительно осталось в памяти. Неясным для самой каким-то новым счастьем. И еще дальше: Казалось мне, что все с таким участием... это же удивительно, Господи!.. с такую ласкою смотрели на меня. Ничто, оказывается, не исчезает окончательно, все продолжает существовать где-то в потайных закромах, чтобы ожить заново вместе с дрогнувшим чувством...

Озаренная низким солнцем стена кирпичного дома напротив засияла, точно плотное вещество света. Все было ясно, как омытый брызнувшим дождем воздух, когда голоса очнувшихся птиц чисты и легки, и близким кажется свободное дыхание. В потоках сырости на плите, как в подвижных облаках, можно было увидеть переменчивые очертания и сюжеты. Что-то шевелилось, бродило внутри, в уме, готовое сложиться в понимание, словно ускользавшее всю жизнь. Ведь это там, внутри соединилось все, существовавшее не просто в разных временах и местах, но словно с разными людьми, и даже все несостоявшееся, упущенное тоже принадлежало, оказывается, твоему существованию. Людям просто не всегда удается это почувствовать, соединиться с собственной жизнью. Вместо этого лезут мертвенные и мертвящие голоса: о наслаждениях, деньгах, о достижениях и победах. А люди сами боятся заметить это, понять. Мужчины особенно. Они боятся именно понимания, — вдруг подумала Сима. — Потому что не хотят показаться слабыми. Даже сами себе. Женщины боятся этого меньше, они привыкли к сознанию своей слабости и уязвимости, как привыкают и к более страшному — безнадежности повседневной сплошной жизни. И потому на самом деле оказываются бесстрашней. Мужчины и жестоки бывают — от страха, они боятся в жизни гораздо большего, чем женщины. А лучше всех понимают, наверное, дети. До поры до времени, пока их головы не забиты чужим...

Вот зачем надо увидеть Славика, — слегка очнулась от полудремы Сима. — Не просто увидеть, а сказать, объяснить... Мысль

лишь казалась отчетливой, точно оставалась все же внутри полудремы, с которой не хотелось до конца расставаться. При полной ясности можно было скорей вновь усомниться, узнаешь ли ты его, сумеешь ли подойти, что именно скажешь. Что-то должно было сложиться само собой, даже, возможно, без слов, как бывает именно в снах, пронизанных светом солнца. Она готова была сидеть вот так, замерев, сколько угодно, не ощущая нараставшей прохлады — как не ощущала даже сама себя. Книга лежала, раскрытая, на коленях, можно было думать, будто ты действительно читаешь написанное там — на самом деле читалось что-то совсем другое. Может быть, вот эта цифра вчерашнего дня на календарной закладке... или нет, там было еще... рисунок на обороте цветными карандашами, красным и зеленым. Одна из тех роз, про которые читала стихи на своем выпускном вечере девочка в белом фартуке школьницы, ты помнила эту розу — памятью не только взгляда, но пальцев, которыми ее рисовала, вода острием зеленого карандаша по заострениям листьев и красного — по изгибам лепестков; внутри бутона держалась на них крупная, благоухавшая свежестью капля. Розу подарил мальчик, в которого ты была влюблена, хотя он этого даже не знал, смотрел как будто поверх тебя, как смотрело поверх тебя большинство людей, кроме нескольких, но дело не в том, что на самом деле розу ты подарила себе сама — что значит «на самом деле»? Ведь было же, было благоухание, и свежесть, и слезы, и любовь, и чистая капелька сразу на трех лепестках бутона, и стихи, которые ты читала дрожащим от волнения голосом. Пел голосом, дрожащим, как струна... нет, там было совсем другое... стихи или проза?.. как же вспомнить самое важное? Там были слова, соединявшиеся внутри со всем... именно внутри все оказывалось настоящим. Да... это было написано не на странице с цифрой вчерашнего дня и не на обороте с нарисованной розой, а где-то между ними, надо было отслоить, приподнять краешек, как казалось когда-то возможным отслоить у дальнего горизонта край моря или приподнять тоненькую пленочку неба, чтобы заглянуть по ту сторону, в промежуток, где дожидались слипшиеся мгновения — чтобы оттаять, ожить, расправиться, превышая длительность жизни. Так разрастались тени в темной комнате, когда ты сидела на горшке, шевелились, прорастали из углов, сливались с другими тенями, превращались во что-то непонятное, знакомое, но неузнаваемое, подступали совсем близко, и нельзя было крикнуть, позвать на помощь — не только потому что стыдно: что-то

сладкое было в этой беспричинной жути, в этом чувстве близкой и важной догадки, которую не удавалось выявить до конца, как не удавалось выдавить из себя кашку. Край горшка все больней вдавливался в попку, и хотелось длить это сладкое мучительное состояние — но тут открывалась, слепя глаза, дверь, мама сердито поднимала тебя с горшка и обнаруживала, что он пуст... Прикосновение к детским пальчикам в тарелке с прохладными сливами. Юноша на пустыре возле метро крутит на шнуре модель жужжащего самолета. Оранжево-красные крылья, праздничная синева, девичья легкость ветра, предчувствие ясности, которая должна была вот сейчас открыться... Какие были розы... ты же помнишь... пальцы без усилия извлекали из клавиш музыку, в четыре руки со знакомым виртуозом, не нуждаясь в нотах, по сказочному вдохновению, хотя на руках у тебя почему-то шерстяные митенки без пальцев, удивляешься сама своей способности, но тебя несет — знакомое ощущение легкости, похожей на сердечную слабость, одновременно пугающей, когда словно все больше теряешь ощущение собственного прочного тела и можешь вот-вот раствориться, растечься в окружающих предметах, в зелени сквера, в воздухе, наполнявшемся все новыми голосами. Лица слушателей кажутся знакомыми, молодые люди в торжественных костюмах с галстуками собираются кучками, раздается смех. Среди них должен быть Славик, оставалось его узнать... Оказывается, они уже вышли, они на самом деле вышли, а ты пропустила момент, ты, оказывается, вздремнула. Да, ты ведь собиралась просто встать и пройти мимо... Как будто ненарочно. Вот только тело не слушалось, словно все еще не могло освободиться от дремы. То, что во сне казалось легкостью, все больше оборачивалось слабостью. Рука не могла даже потянуться к сумочке, чтобы вытряхнуть себе в помощь таблетку из стеклянного цилиндрика, последняя еще оставалась.

Двое рослых красивых мальчиков приближались к скамейке. Один был прыщеватый, с волосами длинными, как у девушки, другой круглолицый, коротко стриженный, мощные плечи начинались где-то прямо от ушей. Длинноволосый доедал черешни, опуская их сверху в запрокинутый рот, прямо на черешках. Другой что-то ему говорил, кривя сочные губы. Прелестные, хотя и расплывчатые, как будто еще не до конца оформленные лица. На расстоянии глаза ее должны были видеть отчетливей, чем в книге. Что она хотела им сказать?.. спросить? Кому из них?

Даже губ своих она не ощущала. Надо было все-таки очнуться, вспомнить прочитанное, открывшееся только что...

— Какие претензии? — говорил, проходя, круглолицый. — Сиськи маленькие, жопа холодная. Я говорю: какие претензии?..

Слова доносились из пустоты, готовой теперь уже совсем разрастись, со свистом втянуть в себя мозги, деревья, мучительное сердце. Знакомый страх обволакивал ее.

— Мальчики, — напряглась она в последнем отчаянном усилии, не зная, как еще обратиться, — подождите. Я должна вам что-то сказать. Я вспомнила. Послушайте, это очень важно...

Двое не услышали слов, но невнятный, похожий на мычание, звук заставил их, пройдя, оглянуться на маленькую, убого одетую старушку с лиловыми щеками и полуоткрытым, как у придурковатой, бесцветным ртом. Длинноволосый, отвернувшись, через плечо, как делал на уроках, стрельнул в нее из пальцев черешневой косточкой. Потом оглянувшись посмотреть, попал ли...

Это было, как укол воспоминания, влюбленности и счастья, косточкой пульнул в нее мальчик, с которым она ни разу не поцеловалась, тот самый, которого она ждала, на выпускном вечере, она в белом фартуке читала стихи, которые жили с ней всю жизнь и вот высвободились — именно их она вспоминала, незачем было сопротивляться дальше этому счастью освобождающей слабости. Воздух полон был птичьим пением, благоуханием и болью свежих неувядающих роз, надо было только сказать им вдогонку, чтобы они знали.

— Вы слышите, мальчики? Я вспомнила... ну, послушайте... Как хороши, как свежи были розы. Вы слышите?..

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

Наконец-то ты достиг блаженной безмятежности. Прогулка по лесу, книга, музыка, рюмка виски у камина, мягкое кресло. Ну, и, конечно, любимое существо рядом, ты не одинок. Здоровье не беспокоит, деньги надежно капают со счета. День за днем одинаково прекрасны. Сколько их так прошло? Не вспомнишь, не различишь. Время слиплось — как будто ты уже умер.